

Девушка,
КОТОРУЮ

ты
покинула



ДЖОДЖО МОЙЕС

Мастерски написанная книга для всех,
кому понравился роман «До встречи с тобой».

Elle

И

Annotation

Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив Халстон. Но их объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже всего в жизни.

Картина «Девушка, которую ты покинул» для Софи – напоминание о счастливых годах, прожитых с мужем, талантливым художником, в Париже начала XX века. Ведь на этом полотне супруг изобразил именно ее, молодую и прекрасную.

Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет Софи – это свадебный подарок, сделанный незадолго до смерти ее горячо любимым мужем. Случайная встреча раскрывает глаза Лив на истинную ценность картины, а когда она узнает историю полотна, ее жизнь меняется навсегда...

Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», а права на их экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.

Впервые на русском языке!

Джоджо Мойес

Девушка, которую ты покинул

Сен-Перрон

Октябрь 1916 г.

Мне снилась еда. Хрустящие багеты, настоящий белый хлеб только что из печи, выдержанный сыр с промытой корочкой, расплзающейся по краям тарелки. Виноград и сливы в тазах, темные и ароматные, наполняющие благоуханием воздух в доме. Я протянула руку, чтобы взять тяжелую гроздь, но сестра меня остановила.

– Убирайся! – пробормотала я. – Я хочу есть!

– Софи, просыпайся!

От одного вида сыра у меня потекли слюнки. Я собиралась намазать реблошон на теплый белый хлеб и заесть виноградом. Во рту уже стоял его сладкий вкус, я вдыхала терпкий аромат.

И все испортила сестра, положившая руку мне на запястье. Запахи испарились, тарелки исчезли. Я пыталась дотянуться до них, но они лопались, как мыльные пузыри.

– Софи!

– Что?!

– Они взяли Орельена.

Я перевернулась на бок и недоуменно заморгала. У сестры на голове, так же как и у меня, был надет для тепла хлопковый чепец. Даже в неверном свете свечи я видела, что она бледна как смерть, а глаза расширены от ужаса.

– Они взяли Орельена. Там, внизу.

У меня в голове начало потихоньку проясняться. Снизу раздавались мужские крики, голоса гулко разносились по вымощенному камнем внутреннему двору, в курятнике громко квохтали куры. Несмотря на непроглядную темень, я чувствовала, как воздух прямо-таки дрожит от напряжения. Я села на кровати, поплотнее завернувшись в ночную рубашку, и попыталась зажечь свечу на прикроватном столике.

Потом бросилась мимо сестры к окну и увидела во дворе солдат, хорошо заметных в свете фар военного грузовика, и своего младшего брата, закрывавшего голову руками в напрасной попытке защититься от обрушивающихся на него со всех сторон ударов оружейных прикладов.

– Что происходит?

– Они узнали о свинье.

– Как?!

– Должно быть, месье Сюэль донес на нас. Я услышала их крики из своей комнаты. Они говорят, что заберут Орельена, если тот не скажет, где свинья.

– Орельен будет молчать, – ответила я.

Мы вздрогнули, точно от боли, услышав, как вскрикнул наш младший брат. Я посмотрела на сестру и с трудом узнала ее. Она выглядела на все сорок пять, хотя ей было двадцать четыре. Я прекрасно знала, что у меня на лице написан такой же страх. Случилось то, чего мы и боялись.

– С ними комендант. Если они найдут ее, – дрожащим голосом прошептала Элен, – нас всех арестуют. Ты ведь знаешь, что случилось в Аррасе. Они накажут нас, чтобы другим неповадно было. Что тогда будет с детьми?!

Мысли путались у меня в голове. Страх, что брат может заговорить, лишал возможности соображать здраво. Я набросила на плечи шаль и на цыпочках снова подошла к окну, чтобы еще раз посмотреть, что происходит во дворе. Приход коменданта говорил о том, что к нам забрели не просто пьяные солдаты, жаждущие дать выход чувству неудовлетворенности путем раздачи тумачков и угроз. Нет, на сей раз мы действительно были в беде. Его присутствие свидетельствовало о том, что мы совершили серьезное преступление.

– Софи, они обязательно найдут ее. В считанные минуты. А тогда... – От ужаса голос Элен поднялся до крика.

Меня терзали мрачные мысли. Я закрыла глаза. И снова открыла.

– Ступай вниз, – твердо сказала я. – Сделай вид, будто ничего не знаешь. Спроси, в чем провинился Орельен. Поговори с комендантом. Постарайся его отвлечь. Тяни время, чтобы я все успела, до того как они ворвутся в дом.

– А что ты собираешься делать?

– Иди! – крепко схватила я ее за руку. – Иди. Но ничего им не говори. Поняла? И от всего *оттирайся!*

После секундного колебания сестра, подметая пол подолом ночной рубашки, побежала по коридору. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, как в те несколько секунд. Страх холодной рукой сжимал горло, а ответственность за судьбу семьи тяжелым бременем давила на плечи. Я бросилась в отцовский кабинет и принялась лихорадочно рыться в недрах массивного письменного стола, выбрасывая содержимое ящичков на пол: старые пишущие ручки, клочки бумаги, детали от сломанных часов и какие-то древние счета, – пока наконец, благодарение Господу, не нашла то, что искала. Затем сбежала вниз, открыла дверь в погреб и спустилась по холодным каменным ступеням, настолько родным и знакомым, что, несмотря на жуткую темень, я вполне могла бы обойтись без призрачного света свечи. Я подняла тяжелый засов на двери, ведущей в соседний погреб, который когда-то был до потолка заставлен бочонками пива и хорошего вина, откатила в сторону пустую бочку и открыла дверцу старой чугунной печи для выпечки хлеба.

Поросенок, лежавший на соломенной подстилке, сонно заморгал глазками. Он встал на ноги, посмотрел на меня и недовольно захрюкал. Я, наверное, уже рассказывала вам историю этой свиньи? Мы стянули ее во время реквизиции на ферме месье Жирара. Милостью Божьей он отбилсЯ от стада свиней, что немцы загоняли в кузов грузовика, и мгновенно нашел приют под пышными юбками старой мадам Полин. Мы неделями откармливали его желудями и обедками в надежде, что, когда он нагуляет вес, мы сможем пустить его на мясо. Весь прошлый месяц обитатели «Красного петуха» жили надеждой отведать сочной свининки с хрустящей корочкой.

Снаружи снова донесся короткий вопль брата, затем – торопливый умоляющий голос сестры и резкий окрик немецкого офицера. Поросенок вполне осмысленно посмотрел на меня умными глазками, словно уже знал, что его ждет.

– Прости, mon petit^[1], – прошептала я. – Но у меня нет другого выхода. – И с этими словами опустила руку.

Затем я разбудила Мими, велев ей идти за мной, но только молча. Бедная девочка успела всего навидаться за последние месяцы, поэтому послушалась беспрекословно. Она посмотрела, как я беру на руки ее грудничка-братика, выскользнула из кровати и доверчиво вложила крошечную ручонку в мою руку.

В воздухе, в котором уже чувствовалось приближение зимы, стоял запах дыма от печи,

слегка протопленной ранним вечером. Я выглянула из-под каменного свода задней двери и, увидев коменданта, заколебалась. Это был не господин Бекер, которого мы хорошо знали и глубоко презирали, а какой-то высокий стройный мужчина. Даже в темноте я сумела разглядеть на его чисто выбритом бесстрастном лице наличие интеллекта, а не воинствующей серости, и это меня страшно испугало.

Новый комендант с интересом смотрел на наши окна, возможно уже прикидывая в уме, не подойдет ли наше жилище для постоя. Оно было явно лучше, чем ферма Фурье, где квартировали старшие офицеры. Комендант, похоже, хорошо понимал, что наш дом, расположенный на возвышенности, дает ему прекрасный обзор всего города. А кроме того, у нас имелись конюшни и десять спален. Остатки прежней роскоши с тех времен, когда дом был процветающим отелем.

Элен лежала на брусчатке и, раскинув руки, закрывала собой Орельена.

Один из солдат вскинул ружье, но комендант жестом остановил его.

– Встать! – приказал он.

Элен неловко отползла назад, подальше от коменданта. Ее лицо исказилось от ужаса.

Я почувствовала, как Мими, увидев мать, еще крепче сжала мою руку. И ответила ей легким пожатием, хотя почувствовала, что душа ушла в пятки. Тогда я сделала шаг вперед и произнесла звенящим голосом:

– Что, ради всего святого, здесь происходит?

Комендант, явно удивленный моим тоном, бросил взгляд в мою сторону. Он увидел вышедшую из-под свода двери молодую женщину с ребенком у подола и запеленутым младенцем на груди. Мой ночной чепец съехал набок, а белая ночная рубашка так прохудилась, что сквозь нее просвечивало тело. В душе я молилась, чтобы комендант не услышал, как громко стучит мое сердце.

– Ну а теперь за какой такой проступок ваши люди решили нас наказать? – обратилась я прямо к нему.

Наверняка ни одна женщина не осмеливалась с ним так разговаривать. Похоже, он не слышал ничего подобного с тех пор, как покинул дом. Все словно онемели от удивления, и во дворе повисло напряженное молчание. Брат и сестра, лежавшие на земле, посмотрели в мою сторону, так как оба прекрасно понимали, чем чревата для нас всех моя строптивость.

– Кто вы такая?

– Мадам Лефевр.

Я заметила, что он явно проверяет наличие у меня обручального кольца. Напрасный труд! Как и большинство местных женщин, я обменяла его на еду.

– Мадам, у нас имеется информация, что вы незаконно скрываете домашний скот.

Говорил он спокойно, французский его был вполне сносным, что свидетельствовало о продолжительном пребывании на оккупированной территории. Такого человека явно не возьмешь на испуг.

– Домашний скот?

– Мы узнали из надежного источника, что вы прячете в доме свинью. Вам, должно быть, известно, что, согласно постановлению командования, за укрывательство домашнего скота полагается тюремное заключение.

– Я точно знаю, кто именно вас информировал, – выдержав его взгляд, ответила я. – Месье Сюэль. *Non?*^[2]

Лицо у меня горело, волосы, заплетенные в длинную косу, были наэлектризованы так,

что покалывало затылок.

Комендант повернулся к одному из своих подчиненных. У того забегали глаза, что только подтвердило мои подозрения.

– Господин комендант, месье Сюэль навещал нас по крайней мере два раза в месяц, чтобы убедить нас, что в связи с отсутствием наших мужей мы нуждаемся в его заботе и внимании. Но поскольку мы пренебрегли его добротой, он отомстил нам, начав распускать сплетни и даже угрожать нашей жизни.

– Власти пользуются только заслуживающими доверия источниками.

– Посмею усомниться, господин комендант, поскольку ваш сегодняшний визит свидетельствует об обратном.

В ответ он как-то странно посмотрел на меня и, повернувшись на каблуках, направился к входной двери. Его шаги эхом отдавались по каменному двору. Путаясь в длинной рубашке, я с трудом поспевала за ним. Как мне было известно, сам факт, что я столь смело заговорила с ним, мог быть инкриминирован мне как преступление. И тем не менее в тот момент я больше не испытывала страха.

– Посмотрите на нас, господин комендант! Разве мы похожи на тех, кто обедает говядиной, или жареной бараниной, или свиным филе? – спросила я, и он уставился на мои костлявые запястья, торчащие из рукавов рубашки. Только за прошлый год моя талия уменьшилась на два дюйма. – Неужто мы так разжирели на доходах от нашего отеля? Из двух дюжин кур у нас остались только три. Три курицы, которые мы имеем счастье кормить и поить, чтобы отдавать вашим людям яйца. Мы же сидим на скудном пайке, определенном для нас немецкими властями: немного мяса и муки, которых раз от разу становится все меньше, да хлеб из зерна с отрубями, что даже на корм для свиней не годится.

Но он уже шел, печатая шаг, шел по коридору. Поколебавшись, он открыл дверь в бар и пролаял какой-то приказ. Выросший словно из-под земли солдат протянул ему лампу.

– У нас нет молока для младенцев, наши дети плачут от голода, мы бодем от недоедания. А вы тем временем заявляетесь посреди ночи, угрожаете двум беспомощным женщинам, жестоко обращаетесь с невинным мальчиком, бьете и запугиваете нас только потому, что бесчестный человек распустил слух, будто мы *жируем!*

У меня тряслись руки. Младенец извивался и дергался. Я поняла, что от нервного напряжения слишком сильно его сжала. Тогда я, слегка попятившись, поправила шаль и успокоила малыша. Затем подняла голову, не в силах скрыть звучащие в голосе горечь и злость.

– Тогда обыщите наш дом, господин комендант. Переверните его вверх дном и разрушьте то немногое, что еще уцелело. Можете обшарить и надворные постройки – те, которые ваши солдаты пока не успели пустить на дрова для собственных нужд. Надеюсь, когда вы найдете свою мифическую свинью, они смогут хорошо пообедать.

Я стойко выдержала непроницаемый взгляд коменданта, чего он явно не ожидал. Посмотрев в окно, я увидела, что сестра в надежде остановить кровь промокает подолом раны Орельена. Над ними возвышались трое немецких солдат.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила озадаченное выражение на лице коменданта. Опешившие солдаты ждали его распоряжений. Он, конечно, мог приказать им разобрать дом до основания и арестовать нас всех в наказание за внезапную вспышку моего гнева. Но я прекрасно понимала, что сейчас он думает о том, не ввел ли его в заблуждение месье Сюэль. Комендант был явно не тот человек, который любит, чтобы его ставили в

дурацкое положение.

Когда мы с Эдуардом играли в покер, он всегда со смехом говорил, что со мной лучше не связываться, так как по моему лицу невозможно было ничего понять. И сейчас я напомнила себе о его словах, поскольку вела самую важную игру в своей жизни. И вот так мы стояли, глядя друг другу прямо в глаза. Комендант и я. И казалось, весь мир на секунду застыл вокруг нас: я слышала отдаленные раскаты орудий, сухой кашель сестры, тихую возню наших тощих кур в курятнике. А потом все стихло. Мы сошлись лицом к лицу, и каждый из нас поставил на правду. Клянусь, что могла пересчитать удары своего сердца.

– Что это?

– Что именно?

Комендант поднял лампу повыше, и в тусклом бледно-золотом свете нашим глазам предстала картина: мой портрет, который Эдуард написал, когда мы только-только поженились. Именно такой я и была в наш первый год: густые волосы блестящей волной лежат на плечах, кожа чистая и сияющая, уверенный взгляд женщины, которая знает, что любима. Несколько недель назад я принесла портрет из укромного места и повесила здесь, заявив, что будь я проклята, если позволю немцам решать, на что мне смотреть в моем доме, а на что – нет.

Комендант поднял лампу повыше, чтобы лучше разглядеть картину.

«Не вешай ее сюда! – предупреждала меня Элен. – Накличешь беду».

Наконец, с трудом оторвав глаза от портрета, он повернулся ко мне. Внимательно посмотрел на мое лицо, затем – снова на портрет.

– Портрет писал мой муж, – объяснила я, сама не понимая зачем.

Возможно, из-за желания дать выход благородному гневу. Возможно, из-за разительного контраста между девушкой на портрете и той, что стояла сейчас перед комендантом. Возможно, из-за плачущей белокурой девчушки, что держалась за мою юбку. А может быть, за два года оккупации и самому коменданту надоело строжить нас за малейшую провинность.

Оторвав глаза от носков сапог, он задержал взгляд на картине:

– Мадам, полагаю, каждый из нас обозначил свою позицию. Но разговор еще не закончен. Однако сегодня я вас больше не побеспокою.

Он заметил плохо скрытое изумление на моем лице и явно остался этим доволен. Видимо, ему было достаточно того, что я почувствовала себя обреченной. Да, в уме и проницательности ему не откажешь. Так что впредь мне следовало быть осторожней.

– Солдаты, кругом!

Солдаты послушно развернулись, промаршировали к грузовику и очень скоро превратились в неясные силуэты в свете фар. Я проследовала за комендантом, остановившись на пороге. Последнее, что я услышала, был его приказ водителю ехать в город.

Мы молча смотрели, как военный грузовик, освещая себе путь фарами, ползет обратно по разбитой дороге. Элен всю трясло. Она с трудом поднялась на ноги, поднесла сжатую в кулак руку ко лбу, глаза ее были закрыты. Орельен взял за руку Мими и теперь неловко топтался возле меня, явно стыдясь своих детских слез. Я терпеливо ждала, пока вдали не стихнет рев мотора. Наконец грузовик с протестующим воем взобрался на гору.

– Орельен, ты как? – оцупала я его голову.

Поверхностные раны. И кровоподтеки. Кем же надо быть, чтобы так наброситься на

безоружного мальчика?!

– У меня ничего не болит, – скривившись, ответил он. – Им не удалось меня запугать.

– Я думала, он тебя арестует. Думала, нас всех арестуют, – подала голос сестра. Мне всегда становилось страшно, когда она выглядела вот так: словно шла по краю пропасти. Смахнув слезы, она с вымученной улыбкой наклонилась обнять дочь. – Глупые немцы! Пришли нас поугубать. Так ведь? А твоя глупая мамочка испугалась. – (Малышка очень серьезно, молча смотрела на мать. Интересно, услышу ли я еще когда-нибудь ее смех?) – Простите. Я уже в порядке, – продолжила Элен. – Пошли в дом. Мими, у нас еще осталось немного молока. Сейчас я тебе согрею. – Вытерев руки об окровавленную ночную рубашку, она протянула их ко мне, чтобы забрать младенца: – Давай я возьму у тебя Жана.

И тут я почувствовала, что вся дрожу, будто только теперь осознала, как все же, должно быть, тогда испугалась. Ноги сразу стали ватными, словно вся их сила ушла в бульжник, которым был вымощен двор. Мне срочно нужно было присесть.

– Да, – кивнула я. – Думаю, так будет лучше.

Сестра отдернула руки и вскрикнула. В одеяльце был аккуратно завернут поросенок, и только розовый пяточок с щетинками торчал наружу.

– Жан спит наверху, – сказала я. Чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к стене.

Орельен заглянул сестре через плечо. Оба они, онемев, смотрели на поросенка.

– Mon Dieu!

– Он что, мертвый?

– Нет. Под хлороформом. Я вспомнила, что в кабинете сохранилась бутылочка. Осталась еще с тех времен, когда папа коллекционировал бабочек. Думаю, он скоро проснется. Но нам необходимо найти для него другое место, прежде чем они вернутся. А они непременно вернутся.

И тогда Орельен растянул губы в скупой улыбке. Элен наклонилась, чтобы показать Мими спящего поросенка, и та довольно улыбнулась. Элен трогала смешное рыльце и всплескивала руками, будто не могла поверить, что это и вправду он.

– Неужели ты все это время держала на руках поросенка? Прямо у них перед носом?! А потом еще и устроила им разнос за то, что *пришли сюда!* – словно не веря себе, воскликнула она.

– Прямо перед их свиными рылами, – вставил Орельен, к которому вернулась его обычная бравада. – Ха! Ты держала его прямо у них перед рылом.

Я опустила на холодный бульжник и захохотала так, что свело скулы, и я уже не знала, то ли смеюсь, то ли плачу. Брат, похоже решивший, что у меня истерика, взял меня за руку и сел рядом. Ему исполнилось четырнадцать. Он мог разозлиться совсем как взрослый мужчина, но иногда совсем по-детски нуждался в утешении.

Элен до сих пор пребывала в глубокой задумчивости.

– Если бы я только знала... – начала она. – Софи, как тебе удалось стать такой смелой? Сестричка ты моя младшая! Кто тебя такой сделал? Ведь когда мы были детьми, ты была тихой как мышка! Как мышка!

Но я не была уверена в том, что знаю ответ.

Потом, когда мы наконец вернулись в дом и Элен принялась возиться с кастрюлькой для молока, а Орельен – смывать кровь с разбитого лица, я застыла перед портретом.

Девушка... Девушка, на которой женился Эдуард, смотрела на меня с тем выражением, которое я перестала узнавать. Он заметил его у меня раньше других: эта улыбка говорила о

тайном знании или об удовольствии, полученном или подаренном другому. Когда парижские друзья Эдуарда удивлялись, как тот мог влюбиться в простую продавщицу, он только улыбался в ответ, поскольку уже тогда разглядел во мне то, что не видели другие.

Но я так и не выяснила, знал ли он, что загадочным взглядом я обязана только ему.

Постояв перед портретом несколько секунд, я вспомнила, каково было быть той девушкой – не терзаемой голодом и страхом, а занятой исключительно мыслями о минутах, которые она проведет наедине с Эдуардом. Я вспомнила о том, что мир полон красоты и в нем существуют такие вещи, как искусство, радость и любовь, а не только страх, суп из крапивы и комендантский час. И глаза девушки на картине напомнили мне об Эдуарде, о том, что я стойкий оловянный солдатик и у меня еще осталось достаточно сил, чтобы воевать.

Клянусь тебе, Эдуард, когда ты вернешься, я снова стану той девушкой, портрет которой ты написал.

История о поросенке-младенце к обеду стала достоянием большинства жителей Сен-Перрона. Посетители шли в бар «Красного петуха» бесконечным потоком, хотя мы не могли предложить им ничего, кроме кофе из цикория; запасы пива пополнялись от случая к случаю, и у нас оставалось только несколько бутылок безумно дорогого вина. Поразительно, сколько людей зашло, просто чтобы пожелать нам хорошего дня.

– И ты устроила ему головной убор? Велела ему убираться? – Старик Рене усмехался в усы и, держась за спинку стула, вытирал с глаз выступившие от смеха слезы.

По его просьбе мы четырежды повторили эту историю, и с каждым разом Орельен расцветивал ее новыми подробностями, договорившись до того, что самолично сражался с комендантом на саблях, а я в это время кричала:

– Der Kaiser ist Scheiss!^[3]

Я обменялась понимающей улыбкой с Элен, которая подметала пол в кафе. В принципе, мне было все равно.

Ведь в последнее время в нашем городке было так мало поводов что-либо праздновать.

– Впредь следует быть осторожнее, – сказала Элен, когда Рене, приподняв шляпу в знак почтения, наконец ушел. Мы увидели, как, проходя мимо почтового отделения, Рене снова согнулся в приступе неудержимого веселья, а потом вытер глаза. – Эта история распространяется слишком быстро.

– Никто ничего не скажет. Все ненавидят бошей, – пожалала я плечами. – К тому же все хотят получить свой кусочек свинины. Вряд ли они станут доносить на нас прежде, чем им подадут на стол их еду.

Рано утром мы незаметно переместили поросенка к соседям. Несколько месяцев назад Орельен раскалывал на дрова старые бочки из-под пива. Именно тогда он обнаружил, что наш, состоящий из множества поворотов винный погреб отделяет от соседского, семьи Фубер, только стена толщиной в кирпич. С помощью Фуберов мы осторожно вынули несколько кирпичей, и образовавшаяся дыра стала дорогой к отступлению в последнее убежище. Когда Фуберы укрыли у себя молодого англичанина и к ним в сумерках неожиданно нагрянули немцы, мадам Фубер сделала вид, что не понимает, чего хочет от нее немецкий офицер, тем самым позволив парню незаметно проскользнуть в погреб и перебраться на нашу сторону. Боши перевернули вверх дном весь дом и даже обыскали погреб, но в тусклом свете ни один не заметил, что между кирпичами кое-где нет цемента.

Такова история нашей жизни: микроскопические мятежи, крошечные победы, мимолетная возможность высмеять наших угнетателей, углое суденышко надежды в бушующем море неизвестности, лишений и страха.

– Ну как, познакомились с новым комендантом?

Мэр сидел за одним из столиков у окна. Когда я принесла ему кофе, он пригласил меня сесть рядом. Я часто думала о том, что оккупация осложнила ему жизнь, как никому другому: у него все время уходило на переговоры с немцами, чтобы выцыганить для города самое необходимое, но иногда они брали его в заложники с целью принудить непокорных горожан выполнять их требования.

– Ну, официально нас друг другу не представили, – поставив перед ним чашку, заметила я.

Он наклонился ко мне и понизил голос:

– Бекера отправили обратно в Германию комендантом одного из лагерей для военнопленных. Похоже, в его бухгалтерских книгах был беспорядок.

– И немудрено. Это единственный человек в оккупированной Франции, который за два года стал вдвое толще.

Я, конечно, шутила, но в то же время испытывала смешанные чувства по поводу его отъезда. С одной стороны, Бекер был грубым солдафоном, а его наказания отличались излишней суровостью, что объяснялось его двойственным положением и страхом уронить свой авторитет в глазах солдат. Но с другой – он был достаточно тупым – в силу чего не замечал многочисленных актов сопротивления горожан, – чтобы установить нужные взаимоотношения для пользы дела.

– И что скажете?

– О новом коменданте? Не знаю. Полагаю, могло быть и хуже. Он не будет брать быка за рога, как сделал бы Бекер, просто чтобы продемонстрировать силу, – поморщилась я. – Но он умный. Мы должны быть крайне осторожны.

– И как всегда, мадам Лефевр, мы мыслим в одном направлении, – улыбнулся мне мэр, но глаза его оставались серьезными.

А я ведь помню время, когда он был веселым, буйным и очень добродушным: на всех городских собраниях его голос звучал громче других.

– На этой неделе что-нибудь предвидится?

– Думаю, немного бекона. И кофе. Чуть-чуть масла. Надеюсь узнать нормы продуктов сегодня чуть позже.

Мы посмотрели в окно. Старик Рене уже проходил мимо церкви, но остановился поговорить со священником. Нетрудно было угадать, что именно они обсуждали. Когда священник расхохотался, а Рене согнулся пополам уже в четвертый раз за утро, я не сдержалась и захихикала.

– Есть какие-нибудь известия от мужа?

– С августа, когда я получила от него открытку, ничего не было, – повернувшись к мэру, ответила я. – Он был под Амьеном. Но в открытке много не скажешь.

«Я думаю о тебе день и ночь, – писал он своим красивым затейливым почерком. – Ты моя путеводная звезда в этом безумном мире». Получив открытку, я две ночи не смыкала глаз от терзающего меня беспокойства, пока Элен не объяснила мне, что слова «этот безумный мир» можно в той же степени использовать применительно к миру, где приходится сидеть на одном хлебе, причем таком черством, что надо брать секач, чтобы его разрезать.

– В последний раз я получил весточку от старшего сына где-то около трех месяцев назад. Они выдвинулись по направлению к Камбре. Но он сказал, что не теряет бодрости духа.

– Надеюсь, с ними все в порядке. А как поживает Луиза?

– Неплохо, спасибо.

Его младшая дочь родилась парализованной, практически не росла, могла принимать только определенную пищу и в свои одиннадцать лет не вылезала из болезней. И все жители нашего городка как один пеклись о ее благополучии. Если у кого-то вдруг появлялось молоко или сушеные овощи, малая толика этих драгоценных продуктов обязательно попадала в дом мэра.

– Когда она снова окрепнет, передайте, что Мими справлялась о ней. Элен шьет ей куклу

– точную копию куклы Мими. И малышка интересуется, не сёстры ли они.

– Твои девочки слишком добры ко мне, – похлопал мэр меня по руке. – Я благодарю Господа, что ты вернулась сюда, хотя могла остаться в Париже, где была бы в полной безопасности.

– Фу! А где гарантия того, что боши уже в ближайшее время не будут маршировать по Елисейским Полям? Кроме того, не могла же я бросить Элен здесь одну?!

– Да, без тебя она точно не выжила бы! Ты стала чудесной молодой женщиной. Париж явно пошел тебе на пользу.

– Мне на пользу явно пошло замужество.

– Господи, спаси и сохрани твоего мужа! Спаси и сохрани всех нас! – Мэр, улыбнувшись, надел шляпу и раскланялся.

Сен-Перрон, где семья Бессетт из поколения в поколение держала отель «Красный петух», оказался одним из первых французских городов, оккупированных немцами осенью 1914-го. Нам с Элен, давным-давно осиротевшим и отправившим мужей на фронт, выпала нелегкая доля стараться сохранить отель на плаву. Но не мы одни взвалили себе на плечи мужскую работу: в магазинах, школе и на окрестных фермах управлялись в основном женщины; им помогали только старики и мальчики. К 1915-му в городе практически не осталось мужчин.

В первые месяцы дела у нас шли отлично, поскольку через город проходили французские войска, а вслед за ними – англичане. Еды было вдоволь, солдаты маршировали под музыку и приветственные крики, и всем нам казалось, что война кончится в худшем случае через несколько месяцев. Практически ничего не напоминало об ужасах, что творились в сотнях миль от нас: мы подкармливали тащившихся через город бельгийских беженцев, их скудные пожитки тряслись на тележках; некоторые так и остались в чем были, когда им пришлось бежать из дома. Иногда, когда ветер дул с востока, мы слышали далекие раскаты орудий. И хотя мы прекрасно понимали, что война уже совсем близко, мало кто верил, что Сен-Перрон, наш гордый маленький город, может попасть в число тех, кто окажется под немецкой пятой.

Доказательство того, как жестоко мы заблуждались, пришло одним холодным тихим осенним утром вместе с ружейными выстрелами, когда мадам Фужер и мадам Дерин, как всегда без четверти семь отправившиеся в boulangerie^[4], были убиты прямо посреди площади.

Я раздвинула шторы и не поверила своим глазам: на мостовой были распростерты тела двух женщин – двух семидесятилетних вдов, друживших всю свою сознательную жизнь, – головные платки съехали набок, пустые корзинки валялись возле их ног. Вокруг них расплылась густая красная лужа, образовавшая почти идеальный круг, словно брала начало из одного источника.

Позднее немецкие офицеры заявили, что их подстрелили снайперы, исключительно как акт устрашения. Похоже, они говорили одно и то же в каждой занятой ими деревне. Если боши хотели на корню пресечь все попытки к сопротивлению в нашем городе, то ничего лучшего, чем убить двух незащитных старых дам, придумать не могли. Но зверства на этом не закончились. Они подожгли несколько амбаров и выстрелами разнесли памятник мэру Леклерку. Через двадцать четыре часа они уже шли строем по главной улице. Мы стояли в дверях наших домов и магазинчиков и в оцепенелом молчании смотрели, как блещут на

холодном осеннем солнце их Pickelhaube^[5]. Немногим оставшимся в городе мужчинам немцы приказали выйти вперед, чтобы пересчитать их.

Владельцы магазинов и торговых палаток тут же закрыли свои лавочки, отказавшись обслуживать бошей. Большинство из нас запаслись продовольствием, а потому не сомневались, что сумеют выжить. Наверное, мы полагали, что подобная бескомпромиссность заставит их сдаться и уйти в другую деревню. Но затем комендант Бекер объявил, что каждый владелец магазина, заведение которого не откроется в обычное рабочее время, будет расстрелян на месте. И один за другим все лавки, boulangerie, boucherie^[6], рыночные палатки и даже «Красный петух» снова открылись. Наш городок волей-неволей стал вести полную опасностей жизнь тайных мятежников.

Через восемнадцать месяцев покупать было уже нечего. Сен-Перрон был отрезан не только от соседних деревень, но и от новостей с воли и зависел исключительно от нерегулярных и весьма дорогостоящих поставок с черного рынка. Мы уже начали терять веру в то, что свободная Франция знает о наших страданиях. Если кто и питался нормально, так это немцы; их (наши) лошади были лоснящимися и упитанными, поскольку на корм скоту пускали молотую пшеницу, из которой мы собирались печь хлеб. Немцы опустошали наши винные погреба и забирали все, что выращивалось на наших фермах.

Но дело было не только в еде. Каждую неделю раздавался зловеющий стук в дверь одного из жителей нашего городка и предьявлялся новый список подлежащих реквизиции вещей, в который входили: чайные ложки, занавески, тарелки, кастрюли, одеяла. Иногда сперва приходил только офицер. Он брал на заметку все ценное, а затем возвращался уже вместе солдатами, чтобы огласить список приглянувшихся ему предметов. Они оставляли нам долговые обязательства, по которым предположительно можно было получить деньги. Но в Сен-Перроне не нашлось ни одного человека, слышавшего, чтобы хоть кто-нибудь получил деньги.

– Что ты делаешь?

– Хочу перевесить картину. – Я убрала портрет из бара и повесила его в маленьком коридоре, подальше от любопытных глаз.

– А кто это? – заинтересовался Орельен, внимательно следивший за тем, как я перевешивала и поправляла картину.

– Я! – повернулась я к нему. – Неужто не узнаешь?

– Ох! – растерянно заморгал он.

Орельен вовсе не хотел меня обидеть: девушка на картине разительно отличалась от худой суровой женщины с серым цветом лица и измученными, усталыми глазами, которую я каждый день видела в зеркале. Я старалась не слишком часто на нее смотреть.

– Это написал Эдуард?

– Да. Когда мы поженились.

– Никогда не видел его картин. Я... я ожидал чего-то другого.

– Что ты хочешь сказать?

– Ну, картина какая-то странная. Краски странные. Он нарисовал зеленые и синие пятна у тебя на коже. У людей не бывает сине-зеленой кожи! И посмотри, лицо все какое-то смазанное. Выходит за контуры рисунка.

– Орельен, иди сюда, – подойдя к окну, позвала я его. – Что ты видишь?

– Горгулью.

– Нет, – шлепнула я его. – Посмотри. Только внимательно. Какого цвета мое лицо?

– Просто бледное.

– Присмотрись повнимательнее. К теням под глазами, к ямке на шее. Но не говори то, что заранее собираешься увидеть. Только смотри. А потом скажи, какие краски видишь на самом деле.

Брат уставился на мою шею. Потом медленно обвел глазами мое лицо.

– Да, действительно, – согласился он. – У тебя под глазами кожа синяя. Сине-фиолетовая. А на шее действительно есть зеленая полоса. И оранжевая! Alors^[7] – срочно зови доктора! Твое лицо окрашено миллионом разных цветов. Ты что, клоун?

– Мы все клоуны, – ответила я. – Просто Эдуард видит это лучше других.

Орельен рысью помчался по лестнице, чтобы сперва обследовать свою физиономию в зеркале, а потом уж удивляться тому, откуда взялись синий и оранжевый цвета, которые он непременно найдет. Но оно и понятно. Орельен обхаживал по крайней мере сразу двух девушек и в тщетной попытке ускорить процесс взросления постоянно брил мягкую, почти детскую кожу на щеках и подбородке отцовской опасной бритвой.

– Портрет прелестный, – задумчиво произнесла Элен, чуть отступив назад. – Но...

– Но что?

– Это большой риск выставлять его напоказ. Когда немцы вошли в Лилль, то сожгли все картины, ниспровергающие основы. Картина Эдуарда... очень отличается от других. Откуда нам знать, что они не захотят ее уничтожить?

Она из-за всего волновалась, наша Элен. Волновалась из-за картин Эдуарда и вспыльчивого характера нашего брата; волновалась из-за писем и записей, которые я делала на клочках бумаги и засовывала в дырки в балках.

– Хочу, чтобы портрет был там, где я могу его видеть, – сказала я сестре, но, похоже, мне так и не удалось ее убедить. – Элен, я хочу ярких красок. Я хочу *жить*. Я не хочу любоваться изображениями Наполеона или унылыми папиными картинками с собачками. И я не позволю *им*, – кивнула я в сторону немецких солдат, куривших у городского фонтана в свободное от дежурства время, – решать за меня, на что я могу смотреть в своем доме, а на что – нет.

Элен покачала головой, словно я была полной бестолочью, которую ей волей-неволей приходилось прощать. И отправилась обслуживать мадам Лувье и мадам Дюран, которые, хоть и говорили, что мой кофе из цикория на вкус напоминает помои, на сей раз специально пришли послушать рассказ о поросенке-младенце.

В ту ночь мы с Элен легли спать на одну кровать, положив между собой Мими и Жана. Иногда даже в октябре ночи бывали очень холодными, и мы боялись, что в своих рубашонках дети превратятся в ледышки, а потому старались тесней прижаться друг к другу. Было уже поздно, но я знала, что сестра не спит. Через щель в занавеске в спальню проникал лунный свет, и я видела, что она лежит с широко открытыми глазами, уставившись в одну точку. Наверное, думает о том, где сейчас ее муж, отдыхает ли на постое в чем-то теплом доме или сидит в холодном окопе и так же, как она, смотрит на луну.

Приглушенные звуки орудий говорили о том, что вдалеке идет бой.

– Софи?

– Да? – Мы переговаривались осторожным шепотом.

– Ты когда-нибудь задумывалась о том, что будет... если они не вернуться?

– Нет, – солгала я, радуясь, что в темноте не видно моего лица. – Так как я твердо знаю: они обязательно вернуться. И я не позволю немцам держать меня в еще большем страхе, чем уже есть.

– А я да, – сказала сестра. – Иногда я начинаю забывать, как он выглядит. Гляжу на его фотографию и не узнаю.

– И все потому, что ты с ней не расстаешься. Иногда мне кажется, мы так часто смотрим на фотографии, что можем протереть в них дыру.

– Но я ничего не помню: ни его запаха, ни звука его голоса. Не помню его рук, его тела. Будто его и не существовало вовсе. И тогда я начинаю думать: а вдруг это все же случится? А вдруг он никогда не вернется? А вдруг нам придется провести остаток жизни, постоянно оглядываясь на людей, которые нас ненавидят? И я не знаю... не знаю, смогу ли...

Я приподнялась на локте и, перегнувшись через Мими и Жана, взяла сестру за руку.

– Нет, ты сможешь, – твердо произнесла я. – Обязательно сможешь. Жан Мишель вернется домой, и у тебя все наладится. Франция будет свободной, и жизнь будет такой же, как прежде. Еще лучше, чем прежде.

Элен лежала молча. Мне было очень холодно без одеяла, но я боялась пошевелиться. Сестра пугала меня, когда говорила подобные вещи. Мне казалось, что внутри ее бедной головы существует целый мир из самых разных страхов, на борьбу с которыми у нее уходит вдвое больше сил, чем у любого из нас.

Ее тихий голос дрожал, словно она с трудом сдерживала слезы.

– Знаешь, когда я вышла за Жана Мишеля, то была так счастлива. Впервые в жизни я почувствовала себя свободной.

Я понимала, о чем она. Наш отец был скор на расправу и чуть что пускал в ход ремень или кулаки. Но в городе его считали добрейшей души человеком, столпом общества и уважительно называли *старина Бессетт*, у которого всегда наготове добрая шутка и стаканчик вина. Но мы-то знали, какой необузданный у него нрав. И только сожалели о том, что наша бедная мать умерла раньше отца и ей не удалось прожить хотя бы несколько лет, не будучи в его тени.

– У меня такое чувство... такое чувство, словно мы поменяли одного тирана на другого. Иногда мне кажется, что всю оставшуюся жизнь мне придется подчиняться воле другого человека. Только, пожалуйста, не смейся, Софи. Я смотрю на тебя и вижу, какая ты решительная, какая смелая. Вешаешь картины, орешь на немцев, и откуда только что берется. А я уже и забыла, как это ничего не бояться.

Потом мы лежали в тишине. Я слышала, как бьется мое сердце. Она считает меня бесстрашной. Но ничто не пугает меня больше, чем страхи сестры. За последние месяцы она стала еще более ранимой, в глазах застыла неизбывная тревога. Я сжала ее руку, но она мне не ответила.

Мими беспокойно зашевелилась, выставив вперед локоть. Элен тотчас же разжала пальцы, перекатилась на бок и накрыла ручонку дочери одеялом. Как ни странно, но этот простой жест помог мне прийти в себя. Я снова легла, натянула одеяло до подбородка и перестала дрожать.

– Свирина, – произнесла я в полной тишине.

– Что?

– Только представь себе ее. Корочка смазана маслом с солью и зажарена до хруста. Подумай о мягких складках горячего белого жира, о розовом мясе, которое расплзается на

волокна прямо под пальцами, о яблочном компоте, которым мы будем его запивать. Элен, вот что мы будем есть всего через несколько недель. Только представь себе, как это будет вкусно.

– Свинина?

– Да, свинина. Когда я чувствую, что вот-вот дрогну, то вспоминаю о нашей свинье с ее толстым животиком. Думаю о хрустящих ушках и о сочных ляжках. – Я буквально *слышала*, как сестра улыбается.

– Софи, ты ненормальная.

– Элен, только подумай! Разве это не здорово?! Представь, как у Мими по подбородку стекает свиной жир! Как будет сыто урчать ее маленькое пузико! С каким удовольствием она будет выковыривать из зубов кусочки поджаристой корочки!

– Не думаю, что она еще помнит вкус свинины, – не выдержав, рассмеялась Элен.

– Ну, ей не потребуется много времени, чтобы вспомнить, – ответила я. – Как и тебе – чтобы вспомнить Жана Мишеля. В один прекрасный день он войдет в эту дверь и ты бросишься ему на шею, и его запах, его руки на твоей талии будут тебе так же хорошо знакомы, как самый сокровенный уголок собственного тела.

Я почти физически ощущала, что ее мысли приняли другое направление. Ну вот, я вытащила ее из бездны отчаяния. Еще одна маленькая победа.

– Софи, а ты скучаешь по физической близости с мужчиной? – немного помолчав, спросила она.

– Каждый божий день. Думаю об этом в два раза чаще, чем о нашей свинье, – ответила я, и мы дружно захихикали. А затем, сама не знаю с чего, зашлись таким безудержным смехом, что пришлось зажать рот руками, чтобы не разбудить детей.

Я знала, что комендант обязательно вернется. На самом деле прошло четыре дня, прежде чем он это сделал. Дождь лил как из ведра, настоящий всемирный потоп, и наши немногочисленные посетители сидели перед пустыми чашками и смотрели невидящими глазами в запотевшие окна. В маленькой комнатке старик Рене и месье Пелье играли в домино; собака месье Пелье, которому приходилось платить немцам дань за привилегию держать ее, лежала у их ног. Днем люди специально приходили сюда, чтобы не оставаться один на один со своими страхами.

Я как раз восхищалась волосами мадам Арно, умело заколотыми моей сестрой, когда стеклянная дверь отворилась и в сопровождении двух офицеров в бар вошел он. В комнате, где царила теплая, дружеская обстановка, сразу стало тихо. Я вышла из-за стойки и вытерла руки о передник.

Немцы никогда не посещали наш отель, разве что с целью очередной реквизиции. Обычно они ходили в более просторный бар «Бланк» в верхней части города, где обстановка была дружелюбнее. Мы всегда однозначно давали понять, что наше заведение не место для развлечения оккупантов. И я уже начала гадать, что они собираются забрать на этот раз. Если у нас будет еще меньше чашек и тарелок, то придется просить посетителей пользоваться ими по очереди.

– Мадам Лефевр! – (В ответ я сухо кивнула, чувствуя на себе взгляды посетителей.) – Согласно принятому решению, отныне часть офицеров будет столоваться у вас. В баре «Бланк» недостаточно места, чтобы достойно принять вновь прибывших офицеров.

Теперь я впервые сумела хорошо разглядеть его. Он оказался старше, чем я думала. Скорее всего, ему было хорошо за сорок, хотя возраст мужчин на войне так сразу не

определишь. Они все выглядели старше.

– Боюсь, это невозможно, господин комендант, – ответила я. – В нашем отеле уже больше восемнадцати месяцев не подают еды. У нас едва хватает провизии, чтобы прокормить нашу маленькую семью. Мы не сможем обеспечить тех стандартов питания, к которым привыкли ваши люди.

– Я это прекрасно понимаю. В начале следующей недели вам доставят все необходимые продукты. Надеюсь, вы сможете приготовить блюда, подходящие для офицерского состава. Насколько я знаю, в свое время ваш отель был первоклассным заведением, а потому не сомневаюсь, что вы прекрасно справитесь.

Внезапно я услышала, как у меня за спиной судорожно вздохнула сестра. Несомненно, она чувствовала то же, что и я. Интуитивный страх перед тем, что в нашем маленьком отеле появятся немцы, отступил при одной только мысли о *еде*, так как в последнее время мы ни о чем другом думать не могли. Ведь все равно будут хоть какие-то, но остатки. Например, кости, из которых можно варить крепкий бульон. В доме снова запахнет вкусной едой, а еще появятся взятые украдкой кусочки еды, незаметно отрезанные кусочки мяса и сыра – одним словом, дополнительные порции к нашему скудному рациону.

– Господин комендант, не уверена, что наш отель вам подойдет, – все же сказала я. – У нас здесь нет никаких удобств.

– Позвольте мне судить о том, где будет удобно моим людям. А кроме того, я хотел бы взглянуть на ваши комнаты. Возможно, я размещу здесь кого-то из своих подчиненных.

Я услышала, как старик Рене тихо пробормотал:

– Sacrebleu!^[8]

– Милости прошу, господин комендант! Можете осмотреть комнаты. Но вы сразу увидите, что ваши предшественники практически ничего нам не оставили. Кровати, одеяла, портьеры, даже медные трубы для раковин – все теперь в распоряжении немцев.

Да, я прекрасно знала, что снова рискую вызвать его гнев, дав понять в присутствии посетителей бара, что он как комендант не осведомлен о действиях своих солдат и в его информации о положении дел в нашем городе имеются явные пробелы. Однако для меня было жизненно важно продемонстрировать местным жителям упрямство и несговорчивость. Ведь как только в баре появятся немцы, о нас с Элен тут же начнут судачить и распускать грязные слухи. А потому мне хотелось продемонстрировать всем, что я сопротивлялась, как могла.

– И опять же, мадам, позвольте мне самому судить, подходят нам ваши комнаты или нет. Будьте добры, проводите меня. – Он сделал знак офицерам оставаться в баре.

Что ж, пока они не уйдут, здесь будет царить гробовая тишина.

Тогда я расправила плечи и вышла в коридор, по дороге захватив ключи. Я чувствовала на себе взгляды всех посетителей бара и слышала только шелест своих юбок и тяжелые шаги за спиной. Затем я отперла дверь в центральный коридор. Двери необходимо было запирать, потому что французские воры вполне могли прихватить то небольшое, что не конфисковали немцы.

В этой части здания пахло сыростью и затхлостью; я уже много месяцев не заходила сюда. По лестнице мы поднимались в полном молчании. И я была благодарна ему, что он сохранял дистанцию и шел в нескольких шагах позади. Наверху мне пришлось подождать, пока он войдет в коридор, и только потом открыть первую комнату.

Еще несколько месяцев назад я не могла без слез смотреть, во что превратился наш

отель. Красная комната когда-то была гордостью «Красного петуха». Именно тут и я, и моя сестра провели свою первую брачную ночь, именно тут мэр размещал самых важных гостей города. В Красной комнате стояла просторная кровать с четырьмя столбиками, широкое окно выходило прямо в сад. Ковер был из Италии, мебель – из замка в Гаскони, темнокрасное шелковое покрывало – из Китая. А еще здесь были роскошная позолоченная люстра и огромный мраморный камин, в котором с утра до позднего вечера горничная поддерживала огонь.

Я открыла дверь, посторонившись, чтобы пропустить немца. В комнате, за исключением колченогого стула в углу, было абсолютно пусто. Половые доски, с которых убрали ковер, посерели от пыли. Кровать давным-давно исчезла, так же как и портьеры, которые попали в число первых вещей, украденных у нас, когда немцы вошли в город. Мраморный камин был разбит, а его наружная часть оторвана от стены. Чего ради, я не понимала, так как в таком виде он вряд ли мог кому-нибудь стодиться. Думаю, Бекер просто хотел деморализовать нас, лишив всех красивых вещей.

Новый комендант вошел в комнату.

– Осторожнее. Смотрите себе под ноги, – предупредила его я.

Он опустил глаза и увидел провал в углу комнаты, там, где прошлой весной боши попытались разобрать пол на дрова. Но дом был построен на совесть, а доски прибиты так крепко, что за несколько часов им удалось оторвать только три длинные планки, после чего они сдались и ушли ни с чем. Через зияющую дыру, похожую на разинутый в немом протесте рот, виднелись балки.

Комендант постоял с минуту, мрачно рассматривая пол. Затем поднял голову и огляделся. Поскольку я еще ни разу не оставалась наедине с немцем, сердце тревожно билось. Я чувствовала исходящий от него слабый запах табака, видела мокрые потеки от капель дождя на его форме. Крепко зажав между пальцами ключи, чтобы ударить его в случае внезапного нападения, я уставилась в основание его шеи. Ведь я была не первой и не последней женщиной, готовой драться, отстаивая свою честь.

Но тут он повернулся ко мне и спросил:

– И что, в остальных все так же плохо?

– Нет, – ответила я. – В остальных еще хуже.

Он наградил меня долгим взглядом, и я почувствовала, что краснею. Но я не могла позволить этому человеку запугать меня. Я пристально посмотрела на него, на подернутые сединой коротко стриженные волосы, водянистые голубые глаза, внимательно рассматривавшие меня из-под кожаного шлема с пикой. Лицо мое оставалось бесстрастным, подбородок был вызывающе вздернут.

Наконец он повернулся, обогнул меня и, спустившись по лестнице, прошел в коридор в задней части дома. Но внезапно остановился, уставившись на мой портрет, и удивленно заморгал, словно только сейчас обнаружил, что его повесили на другое место.

– Я попрошу кого-нибудь сообщить вам, когда следует ожидать первую партию продуктов, – произнес он и, развернувшись на каблуках, прошел в бар.

Ты должна была сказать «нет», – ткнула мне в плечо костлявым пальцем мадам Дюран, да так, что я подскочила на месте.

На голове у мадам Дюран был капор с рюшем, на плечах – выцветшая голубая вязаная пелерина. Те, кто жаловался на отсутствие новостей, так как газеты были запрещены, явно никогда не встречались с моей соседкой.

– Что?

– Кормить немцев. Ты должна была сказать «нет».

Утро было на редкость промозглым, и я замоталась шарфом до носа.

– Я должна была сказать «нет»? – отогнув шарф, переспросила я. – Интересно, а вы, мадам, сказали бы «нет», если бы они захотели занять ваш дом?

– Вы с сестрой гораздо моложе меня. И у вас есть силы бороться.

– К моему глубочайшему сожалению, в моем распоряжении нет огневой поддержки артиллерийского дивизиона. И что я, по-вашему, должна была делать? Швырять в них чашки и блюда?

Но она продолжала поносить меня даже тогда, когда я открывала перед ней дверь boulangerie. В булочной уже не пахло так, как обычно пахнет в булочных. Внутри все еще было тепло, но запахи багетов и круассанов давным-давно исчезли. Вроде бы мелочь, но каждый раз, переступая порог этого заведения, я ужасно расстраивалась.

– И куда только катится наша страна! Видел бы сейчас ваш отец, что в его отеле немцы! – Мадам Лувье явно была хорошо проинструктирована и, когда я подошла к прилавку, осуждающе покачала головой.

– Он поступил бы точно так же.

Но тут булочник месье Арман пришел мне на помощь.

– Вы не имеете никакого права осуждать мадам Лефевр! – цыкнул он на них. – Сейчас мы все игрушки в их руках. Скажите, мадам Дюран, а меня вы осуждаете за то, что пеку им хлеб?

– Я просто считаю непатриотичным выполнять все их требования.

– Легко говорить, когда вам к виску не приставляют пистолет.

– Выходит, их становится все больше и больше? Все больше немцев залезает в наши кладовые, ест нашу еду, ворует наш скот. Клянусь, я просто не представляю, как мы переживем эту зиму!

– Как всегда, мадам Дюран. Стойко и с чувством юмора. Молясь, чтобы Всевышний, если этого не сделают наши парни, дал бошам хорошего пинка под зад, – подмигнул мне месье Арман. – Ну а теперь, дамы, чего желаете? У нас имеется черный хлеб недельной давности, черный хлеб пятидневной давности и черный хлеб неопределенной давности, но точно без долгоносиков внутри.

– Бывают дни, когда я готова съесть даже долгоносика, – вздохнула мадам Лувье.

– Ну тогда, дорогая мадам, я сохраню баночку-другую специально для вас. Можете мне поверить, в муке их попадается предостаточно. Кекс из долгоносиков, пирог из долгоносиков, профитроли из долгоносиков. Благодаря щедрости немцев мы можем ни в чем себе не отказывать.

В ответ мы дружно расхохотались. И как было не засмеяться! Месье Арман был

способен вызвать улыбку на лице даже в самые черные дни.

Мадам Лувье взяла хлеб и с отвращением положила в корзинку. Месье Арман не обиделся: ведь он сто раз за день видел подобное выражение на лицах посетителей. Хлеб был черным, квадратным и клейким. От него пахло затхлостью, словно он заплесневел сразу, как его вынули из печи. И он был таким твердым, что пожилым дамам приходилось звать на помощь кого-нибудь помоложе, чтобы разрезать его.

– А вы слышали о том, что они переименовали все улицы в Ле-Нувьене? – спросила мадам Лувье, поплотнее запахнув на себе пальто.

– Переименовали все улицы?

– Заменили французские названия немецкими. Месье Динан получил весточку от сына. Знаете, как они назвали авеню де-ля Гар?

Мы дружно покачали головой. Тогда мадам Лувье закрыла глаза, чтобы сосредоточиться.

– Банхофштрассе, – наконец произнесла она.

– Банхоф что?

– Нет, вы только представьте себе!

– Я не позволю им переименовать свой магазин! – фыркнул месье Арман. – Скорее я переименую их задницы. Brot^[9] – такой и Brot – другой. Это boulangerie. На рю де Бастид. Всегда была и всегда будет. А что такое Банхоф? Просто курам на смех!

– Но это ужасно! Я не говорю по-немецки! – запричитала мадам Дюран. И, увидев наши удивленные взгляды, добавила: – Боже мой, как же я буду ходить по родному городу, если не буду знать названия улиц?!

Мы так развеселились, что не заметили, как дверь внезапно открылась. И в лавке тут же воцарилась мертвая тишина. Я повернулась и увидела, как в булочную, с высоко поднятой головой, но избегая встречаться с нами глазами, входит Лилиан Бетюн. Лицо ее, не такое худое, как у других, было напудрено и нарумянено. Она пробормотала дежурное «Bonjour» и полезла в сумочку.

– Две буханки, пожалуйста.

От нее пахло дорогими духами, уложенные локонами волосы были зачесаны наверх. В нашем городе, где большинство женщин были так измучены, что опустили руки и перестали за собой ухаживать, она была похожа на сверкающий драгоценный камень. Но внимание мое привлекла даже не прическа, а ее манто, от которого я просто не могла оторвать глаз. Угольно-черное, из чудесного волнистого переливающегося каракуля, высоко поднятый воротник выгодно подчеркивал ее лицо и длинную шею. Я заметила, что пожилые дамы тоже не обошли своим вниманием манто, но, когда они оглядели мадам Бетюн с головы до ног, лица их окаменели.

– Одну для вас, а другую – для немца? – пробормотала мадам Дюран.

– Я сказала: «Две буханки, пожалуйста». Одну для меня, а другую – для моей *дочери*.

Месье Арман сразу же перестал улыбаться. Не отрывая глаз от покупательницы, он полез под прилавок и шмякнул на него две буханки. И даже не потрудился их завернуть.

Лилиан протянула ему банкноту, но булочник не стал брать деньги из ее рук. Он подождал, пока она положит их на прилавок, а потом брезгливо взял двумя пальцами, словно банкнота была заразной. Затем полез в кассу и, хотя женщина уже убрала руку, швырнул две монеты на сдачу.

Мадам Бетюн посмотрела сперва на него, затем – на лежащие на прилавке монеты.

– Сдачу можете оставить себе, – сказала она и, наградив нас яростным взглядом, пулей

вылетела из булочной.

– И у нее еще хватает наглости... – Больше всего на свете мадам Дюран любила возмущаться поведением других. И к счастью для нее, последние несколько месяцев Лилиан Бетюн предоставляла ей массу поводов для праведного гнева.

– Полагаю, ей, как и всем, надо что-то есть, – заметила я.

– Каждую ночь она ходит на ферму Фурье. Каждую ночь. Крадет, как вор, по темному городу.

– У нее уже два новых пальто, – не осталась в стороне мадам Лефевр. – Одно – такое зеленоватое. Новехонькое зеленое шерстяное пальто. Прямо из Парижа.

– А ее туфли! Из лайки! Естественно, днем она их носить не осмеливается. Понимает, что тогда ее просто-напросто разорвут на куски.

– Только не ее. Ведь она под охраной немцев.

– И все же посмотрим, что будет, когда немцы уйдут.

– Не хотела бы я оказаться в ее шкуре. Все равно, лайковая она или нет!

– Тьфу, противно смотреть, как она тут расхаживает с важным видом, демонстрируя всем, как ей повезло. Кем она себя вообразила?

Месье Арман проследил глазами за молодой женщиной, которая как раз переходила через площадь, и неожиданно улыбнулся:

– Дамы, не стоит так беспокоиться! Время разбрасывать камни, и время их собирать! – воскликнул он, а когда мы удивленно уставились на него, добавил: – Вы умеете хранить секреты?

Не знаю, чего это он вдруг стал спрашивать, поскольку прекрасно знал, что старые дамы не были способны закрыть рот даже на десять секунд.

– Так в чем дело?

– А в том, что мадам Модные Панталоны сегодня получит угощение, которого совсем не ждет.

– Не понимаю.

– Вы ведь заметили, что ее буханки лежали отдельно, под прилавком? Так вот, я добавил туда специальные ингредиенты. Те, которых, клянусь, нет в остальных буханках.

Глаза старых женщин округлились от удивления. Я не решилась спросить, что имел в виду булочник, но злорадный блеск его глаз говорил о целом ряде возможных вариантов, ни один из которых мне не хотелось обсуждать.

– Non!

– Месье Арман! – Дамы явно были шокированы, но тем не менее дружно захихикали.

И тут меня начало подташнивать. Лилиан Бетюн мне совершенно не нравилась, как, впрочем, и ее поведение, но их слова вызвали у меня внутренний протест.

– Я... Мне пора идти. Элен ждет... – Я схватила хлеб, а в ушах у меня все еще звенел их смех. И я поспешила укрыться в тиши и относительной безопасности нашего отеля.

Продукты прибыли в следующую пятницу. Сперва молодой немецкий капрал привез две дюжины яиц, накрыв их простыней, словно доставлял контрабанду. Затем мы получили в трех корзинах белый – очень свежий – хлеб. Хлеб, купленный во время моего последнего посещения булочной, уже весь вышел, и, когда я взяла в руки буханки белого хлеба – хрустящего и теплого, – то опьянела от желания. Мне даже пришлось отослать Орельена наверх, чтобы у него не возникло искушения отщипнуть от поджаристой корочки.

Потом нам доставили шесть неоципанных кур и ящик лука, капусты, моркови и

черемши. А еще консервированные томаты, рис и яблоки. Молоко, кофе, три увесистых куска масла, муку, сахар. И все новые и новые бутылки вина с юга. Мы с Элен молча принимали каждую партию продовольствия, к которой обязательно прилагалась накладная с указанием точного количества продуктов. Да, утащить что-то с кухни будет нелегко, так как мы должны были заполнить специальную форму, пометив, сколько чего требуется для каждого блюда. Нам также велели собирать объедки, которые пойдут на корм скоту, в ведра. Когда мне об этом сообщили, то стало так противно, что захотелось сплюнуть.

– Мы что, должны приготовить все к вечеру? – показала я рукой на запасы продовольствия. – Kuchen?

– Ja, – энергично кивнул он. – Sie kommen. Acht Uhr.

– В восемь часов, – подала за моей спиной голос Элен. – Они хотят, чтобы ужин подавали в восемь часов.

Обычно наш ужин состоял из куска черного хлеба с намазанным на него тонким слоем джема и вареной свеклы. И жарить цыплят, наполнив нашу кухню запахами чеснока и томатов, а еще яблочного торта, было сродни танталовым мукам. В тот первый вечер я страшно боялась, что даже если оближу пальцы, красные от томатного сока или липкие от яблок, то просто не переживу этого. Несколько раз, раскатывая тесто или очищая яблоки, я чувствовала, что еще немножко – и потеряю сознание от непреодолимого желания. Нам пришлось загнать Мими, Орельена и маленького Жана на второй этаж, откуда время от времени раздавались протестующие вопли.

Мне не хотелось готовить для немцев слишком хорошо. Но я боялась не угодить им. По крайней мере, уговаривала себя я, вынимая из духового шкафа жареных цыплят и сбрызгивая их обжигающим соком, можно хотя бы насладиться видом еды. Ведь я могла получить шанс снова посмотреть на нее, понюхать ее. Но только не в тот вечер. К тому времени, как раздался звонок в дверь, возвещающий о прибытии господ офицеров, у меня начались голодные рези в животе, а на лбу выступил холодный пот. Я ненавидела немцев так сильно, как никогда раньше.

– Мадам! – Комендант вошел в дом первым. Он снял мокрый от дождя шлем и подал знак офицерам последовать его примеру.

Я стояла, вытирая руки о передник, и не знала, как себя вести.

– Господин комендант! – Лицо мое оставалось абсолютно бесстрастным.

В комнате было тепло. Немцы прислали три корзины дров, чтобы мы могли развести огонь. Офицеры разматывали шарфы и снимали шлемы, с удовольствием приносясь к вкусным запахам и улыбаясь в предвкушении трапезы. В воздухе витал аромат цыпленка, зажаренного в томатно-чесночном соусе.

– Думаю, мы будем ужинать прямо сейчас, – заявил комендант, поглядывая в сторону кухни.

– Как вам будет угодно, – ответила я. – Схожу за вином.

Орельен уже открыл на кухне бутылки и теперь, нахмурившись, нес по одной в каждой руке. Этот мучительный вечер для него оказался особенно тяжелым. Я очень боялась, что в силу своей молодости, импульсивности и свежей обиды на немцев за жестокие побои брат может попасть в беду. Забрав у него бутылки, я быстро сказала:

– Иди скажи Элен, чтобы накрывала на стол.

– Но...

– Иди! – приказала я и начала обходить столы, разливая вино.

Я не смотрела на немцев, когда ставила перед ними бокалы с вином, хотя и ловила на себе их взгляды. «Да, смотрите на меня! – беззвучно говорила я им. – Еще одна тощая француженка, которую голод заставил подчиниться вам. Надеюсь, мой внешний вид испортит вам аппетит».

Под довольное перешептывание сестра принесла первые тарелки. И уже через минуту мужчины жадно накинулись на еду. Слышался только стук ножей и вилок по фарфору и отрывистые фразы на чужом языке. Я непрерывно подносила полные тарелки, стараясь не вдыхать аппетитные ароматы, стараясь не смотреть на жареное мясо, поблескивающее среди ярких овощей.

Наконец мне удалось обслужить их всех. Мы с Элен стояли за стойкой бара и слушали, как комендант произносит по-немецки длинный тост. Невозможно передать словами, каково это – слушать их голоса в собственном доме, смотреть, как они пожирают еду, приготовленную нашими руками, расслабляются, смеются и пьют. Я с горечью думала о том, что помогаю этим людям набраться сил, в то время как мой возлюбленный Эдуард, наверное, совсем ослаб от недоедания. И от этой мысли, а возможно, от чувства голода и крайнего изнеможения на меня вдруг накатило отчаяние. Сдавленный всхлип вырвался из моего горла. И тут я почувствовала, что Элен сжала мне руку.

– Ступай на кухню, – прошептала она.

– Я...

– Ступай на кухню. Я присоединюсь к тебе, как только наполню бокалы.

И на сей раз пришла моя очередь слушаться.

Они ели целый час. Погруженные в тягостные мысли, мы с Элен сидели молча на кухне, умирая от усталости и вздрагивая каждый раз, когда слышали раскаты смеха или прочувственные возгласы. Хотя нам было трудно понять, что они значили.

– Дамы! – В дверях кухни появился комендант. Мы тотчас же вскочили на ноги. – Еда была превосходной. Надеюсь, вы сможете и дальше держать марку.

Я стояла, уставившись в пол.

– Мадам Лефевр, – произнес он, и я неохотно подняла глаза. – Вы очень бледны. Вы, случайно, не больны?

– Нет, я в порядке, – сглотнув, ответила я.

Его глаза жгли меня огнем. Стоявшая рядом Элен нервно сплетала и расплетала пальцы, с непривычки покрасневшие от горячей воды.

– Мадам, а вы с сестрой что-нибудь ели?

Я решила, что он нас проверяет. Проверяет, выполнили ли мы все эти чудовищные инструкции. А еще подумала, что сейчас он захочет взвесить очистки, чтобы проверить, не сунули ли мы тайком в рот кусочек яблочной кожуры.

– Господин комендант, мы не тронули даже рисового зернышка, – практически выплюнула я в него. От голода я потеряла чувство самосохранения.

– Тогда вам непременно нужно поесть, – прищурился он. – Вы не сможете хорошо готовить, если не будете есть. На кухне что-нибудь осталось?

Я стояла, не в силах пошевелиться. Элен махнула в сторону противня на духовом шкафу. Там лежали четыре четвертинки цыпленка, подогретые на случай, если кто-то попросит добавки.

– Тогда присядьте и спокойно поешьте. – (Я поверить не могла, что он не устраивает нам очередной проверки.) – Это приказ. – Он почти улыбался, хотя я не находила здесь ничего

смешного. – Я серьезно. Ну давайте же!

– А нельзя ли... Нельзя ли накормить детей? Они так давно не видели мяса.

Он слегка нахмурился, словно не понимая, о чем я толкую. А я ненавидела его. Ненавидела звук собственного голоса, выпрашивающего у немца объедки. О, Эдуард! Слышал бы ты меня сейчас!

– Накормите детей и поешьте сами, – коротко ответил он, а затем повернулся и вышел из кухни.

Мы не произнесли ни слова, его слова эхом отдавались у меня в голове. Затем Элен подобрала юбки и ринулась вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Я уже давно не видела, чтобы она бегала так проворно.

А секунду спустя она вернулась, держа на руках Жана в ночной рубашонке. Мими и Орельен бежали впереди.

– Это правда? – спросил Орельен, который, раскрыв рот, смотрел на цыпленка.

В ответ я только слабо кивнула.

И мы жадно набросились на несчастную птицу. Я могла бы, конечно, сказать вам, что мы с сестрой ели, демонстрируя хорошие манеры, как истинные парижанки, отрезали маленькие кусочки, делали паузы, чтобы перекинуться парой слов или вытереть губы салфеткой. Нет, мы набросились на еду, словно дикари. Мы разрывали мясо руками, зачерпывали полные пригоршни риса, ели с открытым ртом, хватали упавшие на пол кусочки. Меня уже совершенно не волновало, была ли это какая-то очередная уловка коменданта. В жизни не пробовала ничего вкуснее того цыпленка. Томатно-чесночный соус оставлял во рту дано забытое сказочное послевкусие, а его ароматы я, казалось, могла бы вдыхать вечно. Мы ели, издавая первобытные звуки, чавкая и причмокивая, поскольку с головой ушли в собственный мир наслаждений. Малыш Жан со смехом вымазал лицо соком. Мими жевала куриную кожу, шумно обсасывая жирные пальцы. Мы с Элен ели в полном молчании, прерываясь лишь на то, чтобы проверить, достаточно ли еды у детей.

Все подчистив, обглодав буквально каждую косточку и доев рис до последнего зернышка, мы сели и посмотрели друг на друга. Из бара доносились голоса немцев, звучавшие все громче, по мере того как вина становилось все меньше, и периодические взрывы смеха. Я вытерла рот тыльной стороной ладони.

– Только никому не слова, – произнесла я, сполоснув руки. Я чувствовала себя как пьянчуга, который неожиданно протрезвел. – Это может больше не повториться. И мы должны вести себя так, словно ничего и не было. Если хоть одна живая душа узнает, что мы ели немецкую еду, нас сочтут предателями.

Мы бросили строгий взгляд на Мими с Орельеном, пытаясь донести до них всю серьезность наших слов. Орельен кивнул. Мими тоже. В такие минуты они были готовы на все. И, если понадобится, хоть всю жизнь говорить по-немецки. Элен схватила посудное полотенце, намочила его и принялась стирать следы недавнего ужина с рожниц малышей.

– Орельен, – сказала она. – Уложи детей в кровать. Мы займемся уборкой.

Но, как ни странно, мои предостережения вовсе не испортили Орельену настроения. Его щуплые юношеские плечи расправились впервые за долгие месяцы. И клянусь, когда он взял на руки Жана, то, если бы мог, принялся бы насвистывать.

– Запомни, ни одной живой душе, – снова предупредила я его.

– Знаю, – ответил он.

Ведь он был всего-навсего четырнадцатилетним подростком, которому кажется, что он

действительно все знает. Маленький Жан уже обмяк у него на плече, так как впервые за несколько месяцев по-настоящему плотный ужин подействовал на него усыпляюще. Дети стали подниматься по лестнице. И их смех, когда они достигли верхней ступеньки, болью отозвался в моем сердце.

Немцы ушли после одиннадцати. В городе уже год как действовал комендантский час, и когда наступала ночь, мы с Элен сразу отправлялись спать, поскольку у нас не было ни свечей, ни газовых ламп. Бар закрывался в шесть, по крайней мере стал закрываться с начала оккупации, и мы уже тысячу лет не оставались так долго на ногах. И теперь буквально падали от усталости. В животе бурчало и булькало после неожиданно обильной еды, тем более что в последние месяцы мы были на грани голодной смерти. Я увидела, что сестра, отмывавшая сковородки, еле стоит. Я чувствовала себя все же не такой усталой и мысленно постоянно возвращалась к съеденному за ужином цыпленку. У меня было такое чувство, будто давным-давно убитые нервы снова возродились к жизни. Во рту до сих пор стоял вкус жареного мяса, а в носу – его запах. И эти воспоминания ярким угольком горели в мозгу.

После того как кухня была практически приведена в порядок, я отослала Элен наверх. Она устало откинула прядь волос со лба. В свое время сестра была красавицей. Когда я видела, как эта ужасная война ее состарила, то начинала думать о собственном лице. Узнает ли меня мой муж, когда вернется?!

– Не хочу оставлять тебя наедине с ними, – сказала она.

В ответ я только покачала головой. Я ничего не боялась. На душе было легко и спокойно. Поднять мужчин с места после сытного ужина – задача не из легких. Они много пили, но в бутылках осталось не больше трех бокалов на каждого; вряд ли с такого количества их потянет на подвиги. Господь свидетель, отец наш дал нам не слишком много, но научил понимать, когда надо бояться, а когда нет. Я могла с одного взгляда на незнакомого человека определить – по его напрягшейся нижней челюсти и сузившимся глазам – момент, когда внутреннее напряжение способно вылиться во вспышку насилия. А кроме того, скорее всего, комендант не допустит ничего подобного.

Я осталась на кухне и занималась уборкой до тех пор, пока не услышала звук отодвигаемых стульев. Похоже, они собрались уходить.

– Теперь можете закрываться, – произнес комендант, и я с трудом удержалась, чтобы не ответить ему колкостью. – Мои люди хотят поблагодарить вас за отличный ужин.

Я наградила офицеров едва заметным кивком. Мне не хотелось продемонстрировать немцам благодарность за комплименты.

Но комендант явно не рассчитывал на ответ. Он надел на голову шлем, а я достала из кармана заполненные формы и протянула ему. Он бросил на них беглый взгляд и несколько раздраженно вернул мне обратно.

– Я не держу у себя таких вещей. Отдайте человеку, который привезет вам завтра продукты.

– Désolée^[10], – произнесла я, и это слово мне было известно слишком хорошо. Внутренний протест толкал меня на то, чтобы унижить его, хотя бы на время низведя до уровня солдата из вспомогательных войск.

Я стояла и смотрела, как они надевают шинели и шлемы. Одни, попытавшись продемонстрировать остатки хорошего воспитания, задвинули за собой стулья, другие же не стали себя утруждать, словно имели право вести себя везде по-хозяйски. Вот такие дела,

думала я. Значит, нам придется до конца войны стряпать для немцев.

А еще я гадала про себя, что было бы, если бы мы готовили не так хорошо. Может, и проблем оказалось бы меньше. Но мама навсегда вбила нам в голову, что плохо готовить – уже само по себе непростительный грех. Возможно, мы были предателями, возможно, поступали аморально, но я знала наверняка, что мы навсегда запомним тот вечер, когда впервые за долгое время ели жареного цыпленка. А когда я подумала, что это, наверное, не в последний раз, у меня слегка закружилась голова.

И тут до меня дошло, что он смотрит на картину.

Мне вдруг стало страшно, и я вспомнила пророческие слова сестры. Картина действительно ниспровергала основы, в полутемном баре краски казались слишком яркими, а сияющая девушка – слишком своенравной и самоуверенной. Я только сейчас заметила, что она выглядит так, будто смеется над ними.

Он продолжал смотреть на портрет. Его товарищи начали потихоньку уходить, их голоса – грубые и громкие – гулко разносились по пустой площади. А я вздрагивала каждый раз, когда хлопала дверь.

– Очень похоже на вас, – произнес комендант.

Я была потрясена, что он заметил сходство. Но признаваться ужасно не хотелось. То, что он узнал в девушке на портрете меня, вносило элемент некоторой интимности. Я с трудом проглотила комок в горле и так крепко стиснула руки, что у меня побелели костяшки пальцев.

– Да. Ну, это было давным-давно.

– Картина немного напоминает... Матисса.

От удивления я выпалила, не подумав:

– Эдуард учился у него. В Академии Матисса в Париже.

– Я знаю о ней. А вы никогда не встречались с художником по имени Ханс Пурманн? –

Он смотрел на меня в упор, и мне ничего не оставалось, как ответить:

– Я большая поклонница его творчества.

Ханс Пурманн. Академия Матисса. У меня даже закружилась голова. Услышать такое от немецкого коменданта!

Мне захотелось, чтобы он поскорее ушел. Я не желала слышать эти имена из его уст. Воспоминания о самых счастливых днях своей жизни были моими, и только моими, как маленький чудесный дар, который помогал мне держаться, когда становилось совсем невмоготу; и я не хотела, чтобы немец марал их своими небрежными замечаниями.

– Господин комендант, мне нужно убрать посуду. С вашего позволения. – И я начала складывать стопкой тарелки, составлять бокалы.

Но он даже не шелохнулся. Его глаза были обращены к портрету, а мне казалось, будто он смотрит на меня.

– Я так давно не разговаривал об искусстве, – произнес он, словно обращаясь к портрету, затем заложил руки за спину и повернулся ко мне: – Увидимся завтра.

Когда он проходил мимо, я была не в силах поднять на него глаз.

– Господин комендант! – произнесла я, с трудом удерживая в руках гору тарелок.

– Спокойной ночи, мадам.

Когда я наконец поднялась наверх, Элен уже спала, уткнувшись лицом в покрывало. Похоже, у нее даже не было сил снять одежду, в которой она стряпала на кухне. Я расстегнула ей корсет, сняла с нее башмаки и накрыла одеялом. Затем легла рядом, но из-за вертевшихся

В голове мучительных мыслей до утра так и не сомкнула глаз.

Париж, 1912 г.

Мадемуазель!

Я оторвалась от лежащих в витрине перчаток, со стуком закрыв стеклянный ящик, и стук этот утонул в шуме гигантского атриума, являвшегося центральной торговой зоной «Ля фам марше».

– Мадемуазель! Будьте добры! Не могли бы вы мне помочь?

В любом случае, даже если бы он и не кричал, я непременно обратила бы на него внимание. Он был высоким, крепко скроенным, с закрывающими уши волнистыми волосами и совсем не походил на коротко стриженных господ, переступающих порог нашего магазина. Лицо его было грубоватым, но в то же время благородным, оно относилось к тому типу, который папа характеризовал как *rausan*^[11]. Мне показалось, что в нем было что-то от римского императора, а что-то – от русского медведя.

Я подошла к нему, и он махнул рукой в сторону витрины с шарфами. При этом он не сводил с меня глаз. На самом деле его взгляд задержался на мне так долго, что я в испуге оглянулась, не видит ли меня моя начальница мадам Бурден.

– Я хочу, чтобы вы подобрали мне шарф, – сказал он.

– Какой именно, месье?

– Женский шарф.

– Могу я спросить, какие цвета ей идут? Или, возможно, она предпочитает какую-то конкретную ткань?

А он продолжал, не скрываясь, на меня глазеть. Слава богу, мадам Бурден занималась какой-то дамой в шляпке с павлиньими перьями. Если бы она оторвала взгляд от прилавка с кремами для лица, то обязательно заметила бы, что у меня покраснели уши.

– На ваш вкус, – ответил он. – Ей идут те же цвета, что и вам.

Я принялась терпеливо перебирать шелковые шарфы, чувствуя, как кровь приливает к щекам, и выбрала мой самый любимый – легкий как перышко, переливчатого синего цвета.

– Этот цвет подходит практически всем, – объяснила я свой выбор.

– Да... да. Поднимите его, пожалуйста. Приложите его к себе, – попросил он и поднес руку к моей шее.

Я бросила опасливый взгляд в сторону мадам Бурден. У нас существовали строгие правила относительно допустимой степени фамильярности с покупателями, и я отнюдь не была уверена, что, прикладывая шарф к обнаженной шее, не нарушаю их. Но странный покупатель ждал и, когда я после секундного колебания поднесла шарф к щеке, принялся так внимательно на меня смотреть, что мне показалось, будто торговый зал внезапно исчез.

– Да, вот этот. Прекрасно. То, что надо! – воскликнул он и полез в карман пальто за бумажником. – Вы помогли мне сделать правильный выбор.

Он ухмыльнулся, и я невольно улыбнулась в ответ. Возможно, просто от облегчения, что он перестал есть меня глазами.

– Я не уверена, я... – Я завернула шарф в оберточную бумагу и, заметив приближение начальницы, опустила голову.

– Мадам, ваша продавщица отлично справляется со своими обязанностями, – одарил он ее широкой улыбкой.

Краешком глаза я заметила, что она отчаянно пытается понять, как сочетается его неряшливый вид с властным голосом, который говорит о больших деньгах.

– Вы должны обязательно поощрить ее. У нее верный глаз, – продолжил он.

– Месье, мы делаем все, чтобы наши продавцы могли удовлетворить запросы покупателей, оказывая высокопрофессиональную помощь, – льстиво ответила она. – Но мы надеемся, что и высокое качество наших товаров удовлетворяет всем требованиям наших клиентов. С вас два франка сорок сантимов.

Я вручила ему сверток, а потом стояла и смотрела, как он идет в толпе посетителей по первому этажу самого крупного парижского универмага. Он нюхал флаконы духов, рассматривал яркие шляпы, перебрасывался короткими фразами с обслуживающим персоналом и даже с посетителями. «Интересно, каково это – быть женой такого человека? – рассеянно подумала я. – Человека, которому каждая минута жизни доставляет прямо-таки чувственное удовольствие». Правда, человек этот, напомнила я себе, имеет наглость глазеть на продавщиц, вгоняя их в краску. Но когда он подошел к большим стеклянным дверям, то повернулся и посмотрел прямо на меня. Потом приподнял шляпу на целых три секунды – и исчез, окунувшись в парижское утро.

В Париж я приехала в 1910-м, через год после смерти матушки и через месяц после того, как сестра вышла замуж за Жана Мишеля Монпелье, книготорговца из соседней деревни. Я поступила на работу в «Ля фам марше», самый крупный парижский универсальный магазин, где, начав со скромной должности кладовщицы, вскоре стала продавщицей в торговом зале. Поселилась я в пансионе для сотрудников универмага.

Я была вполне довольна жизнью, поскольку наконец-то смогла избавиться от внезапного одиночества и сменить сабо, выдававшие во мне провинциалку, на нормальные туфли. Я приходила на работу, которая меня вполне устраивала, к восьми сорока пяти. В это время двери магазина открывались, и в зале появлялись утонченные парижанки: на высоко взбитых волосах нарядные шляпки, талии неестественно тонкие, лица – в обрамлении меха или перьев. Я была счастлива наконец выйти из тени отца, тяжелый нрав которого омрачил мои детские годы. Пьяницы и хулиганы девятого arrondissement^[12], где я жила, меня не особо пугали. И мне действительно нравился наш магазин – своеобразный рог изобилия прекрасных вещей. Его запахи одурманивали, а витрины сводили с ума. Здесь был постоянно обновляемый запас товаров из разных стран мира: итальянская обувь, английский твид, шотландский кашемир, китайский шелк, модные новинки из Америки и Англии. А внизу недавно созданный продовольственный отдел предлагал швейцарский шоколад, жирную копченую рыбу, крепкие напитки, мягкие сыры. С каждым днем, проведенным в шумных стенах «Ля фам марше», я все больше приобщалась к новому, блестящему, экзотическому миру.

Я не собиралась выходить замуж: не хотела повторять судьбу своей матери. Меня вполне устраивали те, кто сейчас был рядом со мной, вроде швеи мадам Артей или моей начальницы мадам Бурден.

Два дня спустя я снова услышала его голос:

– Продавщица! Мадемуазель!

Но я была занята, поскольку продавала какой-то молодой женщине детские перчатки. Сухо кивнув ему, я продолжила аккуратно заворачивать покупку.

Но он не хотел ждать.

– Мне срочно нужен еще один шарф, – громогласно провозгласил он.

Покупательница, недовольно фыркнув, взяла у меня пакет. Но если он и слышал, то не подал виду.

– Думаю, что-нибудь красное. Что-нибудь яркое, огненное. У вас есть то, что мне нужно?

Я чувствовала, что начинаю сердиться. Мадам Бурден крепко-накрепко вбила мне в голову, что наш магазин словно земля обетованная: у покупателя всегда должно создаваться ощущение, что после суеты парижских улиц он наконец нашел райский уголок, если, конечно, забыть о том, что здесь его элегантно и ненавязчиво избавляют от лишних денег. И я боялась, что покупательница может на меня пожаловаться. Слишком уж раздосадованный у нее был вид.

– Нет-нет, не то, – сказал он, когда я начала перебирать выложенный товар. – Вот это, – ткнул он пальцем в стеклянный шкаф, где были выставлены самые дорогие образцы. – Вон тот.

Я достала шарф. Темно-красный, рубинового цвета свежей крови, на фоне моих белых рук он казался открытой раной.

Увидев шарф, странный покупатель довольно улыбнулся:

– Мадемуазель, приложите к шее, пожалуйста. Чуть-чуть поднимите голову. Да. Вот так.

На сей раз я чувствовала себя крайне неловко. Я прекрасно знала, что моя начальница наблюдает за мной.

– У вас чудесный цвет лица, – вкрадчиво произнес он и полез в карман за деньгами.

– Уверена, ваша жена будет в восторге от подарков. – Я сняла с шеи шарф и начала его упаковывать, чувствуя на себе обжигающий мужской взгляд.

Тогда он засмеялся, и вокруг глаз сразу образовались мелкие морщинки.

– Откуда может быть родом девушка с такой нежной кожей? С севера? Из Лилля? Бельгии?

Я сделала вид, что не слышу. Нам не разрешалось обсуждать с покупателями, тем более мужского пола, личные дела.

– Знаете, какая моя самая любимая еда? Мидии в белом вине с нормандскими сливками. Немного лука. Немного *pastis*^[13]. Мм... – Он прижал пальцы к губам и взял протянутый мною пакет. – До скорого свидания, мадемуазель.

На сей раз я не стала провожать его взглядом. Но внезапный прилив крови к затылку подсказал мне, что он остановился, чтобы посмотреть на меня. И это на секунду вывело меня из себя. В Сен-Перроне такое поведение было просто невыносимо. В Париже, наоборот, иногда мне казалось, будто я иду по улице в одном нижнем белье, настолько откровенными были взгляды здешних мужчин.

Однажды, за две недели до Дня взятия Бастилии, в магазине поднялась ужасная суматоха: в торговом зале появилась знаменитая певица Мистингетт. Она шла, ослепительно улыбаясь, в окружении поклонников и продавцов, красивая, точно картинка, в головном уборе из роз. Она покупала вещи не глядя, просто тыкала пальцем в витрину, а уже все остальное делали продавцы, шедшие у нее в кильватере. Мы смотрели на нее, как на райскую птицу, и чувствовали себя серыми парижскими воробышками. Я продала ей два шарфа: один из кремового шелка, а второй – из синих перьев, очень шикарный. Я представила, как они обвиваются вокруг ее шеи, и почувствовала себя так, словно и на меня упал отблеск ее славы.

Эта встреча на какое-то время выбила меня из колеи, будто ее удивительная красота, ее

шик заставили острее чувствовать свое несовершенство.

Тем временем Медведь еще три раза приходил в магазин. И каждый раз покупал шарф, причем старался сделать так, чтобы обслуживала его именно я.

– Похоже, у тебя появился обожатель, – заметила Полетт (Парфюмерия).

– Месье Лефевр? Берегись! – фыркнула Лулу (Сумки и бумажники). – Марсель из отдела доставки видел его на улице Пигаль. Он болтал с уличными девицами. Хм. Разговор с дьяволом. – И она отошла к своему прилавку.

– Мадемуазель! – окликнул он меня, и я подскочила как ужаленная. Он навалился на прилавок, положив мясистые руки на стекло. – Я вовсе не собирался вас пугать.

– А я и не думала пугаться, месье.

Его карие глаза впились в меня так, будто он о чем-то напряженно думал, но не мог посвятить меня в свои мысли.

– Не желаете посмотреть еще какие-нибудь шарфы?

– Не сегодня. Я хотел... я хотел вас кое о чем попросить, – произнес он, и я непроизвольно дотронулась до воротника платья. – Мне хочется написать ваш портрет.

– Что?

– Меня зовут Эдуард Лефевр. Я художник. И если вы уделите мне час или два своего времени, я мог бы написать ваш портрет.

Я решила, что он меня дразнит, и на всякий случай бросила взгляд в сторону Лулу и Полетт, гадая про себя, слушают ли они наш разговор.

– Но почему... почему вы захотели нарисовать именно *меня*?

Впервые за все время нашего знакомства я видела его слегка обескураженным.

– Вы действительно хотите, чтобы я ответил?

И только тут я поняла, что мой вопрос звучит так, будто я напрашиваюсь на комплименты.

– Мадемуазель, в моей просьбе нет ничего предосудительного. Если желаете, можете взять с собой компаньонку. Я просто хочу... Ваше лицо меня обворожило. Я не смог забыть его даже после того, как покинул «Ля фам марше». И хочу запечатлеть его на бумаге.

Я с трудом удержалась, чтобы не потрогать себя за подбородок. *Мое лицо? Обворожительное?*

– А ваша... ваша жена будет присутствовать?

– Я не женат. – Он полез в карман и что-то черкнул на листе бумаги. – Но зато у меня много шарфов.

Он протянул мне листок, и я поймала себя на том, что, прежде чем взять его, опасно огляделась по сторонам, словно преступница.

Я никому ничего не сказала. Ведь я и сама точно не знала, что именно должна была сказать. Я надела свое лучшее платье, но, немного подумав, сняла его. Потом снова надела. А еще потратила непривычно много времени на то, чтобы заколоть волосы. Я битых двадцать минут просидела возле двери своей комнаты, перечисляя вслух причины, почему мне не следует идти.

Когда я наконец вышла из комнаты, хозяйка пансиона удивленно подняла брови. Чтобы отвести от себя ее подозрения, я сняла парадные туфли и переобулась в сабо. Я шла и сама с собой спорила.

«Если администрация магазина узнает, что ты позировала художнику, то может

поставить под сомнение твою нравственность. Ты потеряешь работу!

Он хочет писать с меня картину. С меня, Софи из Сен-Перрона! Лишь слабой копии Элен, с ее удивительной красотой.

Возможно, в моей внешности есть нечто доступное. Вот почему он уверен, что я не смогу ему отказать. Он ведь общается с девицами с улицы Пигаль...

Но что я вообще видела в этой жизни? Вся моя жизнь – только работа и сон. Почему бы не позволить себе испытать что-то еще?»

Лефевр жил через две улицы от Пантеона. Я прошла по мощеной улочке, нашла нужный дом и, еще раз проверив адрес, постучала. Мне никто не ответил. Откуда-то сверху доносилась музыка. Входная дверь была слегка приоткрыта, и я, толкнув ее посильнее, вошла в дом. Затем тихонько поднялась по узкой лестнице и остановилась. Там, за дверью, играл граммофон, женщина пела о любви и отчаянии, а мужской голос подпевал в такт музыке. Я безошибочно узнала его густой бас. Секунду-другую я стояла и слушала, улыбаясь помимо своей воли. Затем распахнула дверь.

Просторная комната утопала в лучах света. Одна стена была кирпичной, другая – стеклянной, поскольку состояла из сплошных примыкающих друг к другу окон. Но что меня потрясло больше всего – это царивший там ужасающий кавардак. У стен лежали кипы полотен; на всех свободных поверхностях вперемешку с подрамниками в потеках засохшей краски и коробками угольных карандашей стояли банки с грязными кистями. Вокруг лежавшей на полу лестницы были разбросаны ненатянутые холсты, карандаши, тарелки с остатками еды. В комнате остро пахло скипидаром и масляной краской, застарелым табачным дымом и прокисшим вином; по углам стояли темно-зеленые бутылки; в одни были вставлены свечи, другие же просто служили свидетельством недавней попойки. На деревянном табурете неопрятной кучей лежали банкноты и монеты. И посреди всего этого хаоса задумчиво расхаживал взад и вперед, держа в руках банку с кистями, месье Лефевр, облаченный в просторную блузу и крестьянские штаны, словно он был не в самом сердце Парижа, а за сотни миль отсюда.

– Месье?

Он удивленно моргнул, словно не мог вспомнить, кто я такая, затем медленно поставил банку с кистями на стол.

– Это вы!

– Ну да.

– Чудесно! – покачал он головой, словно не верил своим глазам. – Чудесно! Входите, входите. Сейчас найду, куда вас усадить.

В мастерской он казался еще массивнее, тонкая ткань блузы не скрывала его крупного тела. Я стояла, тиская в руках сумочку, и смотрела, как он сбрасывает кипы газет со старой кушетки.

– Садитесь, пожалуйста. Не хотите чего-нибудь выпить?

– стакан воды, если можно. Благодарю вас.

Несмотря на некоторую двусмысленность ситуации, я шла сюда, не чувствуя особой неловкости. Меня не слишком волновало, что и мастерская какая-то странная, да и район, где она располагалась, пользуется сомнительной репутацией. Но сейчас я вдруг поняла, что попала в унизительное, даже дурацкое положение, и оттого почувствовала себя крайне неудобно.

– Месье, похоже, вы меня не ждали?

– Ради бога простите! Я просто не верил, что вы решитесь прийти. Но я очень рад. Очень рад, – произнес он и, слегка попятившись, посмотрел на меня.

Его взгляд скользил по моим волосам, по скулам, по шее. Я же сидела перед ним неподвижно как истукан. От него пахло немытым телом. Не могу сказать, что мне было неприятно. Наоборот, при данных обстоятельствах его запах даже притягивал меня.

– Вы уверены, что не хотите стаканчика вина? Это позволит вам расслабиться.

– Нет, благодарю. Я хотела бы, чтобы вы приступили к работе... В моем распоряжении всего один час, – вырвалось у меня. Но на самом деле я уже была готова встать и уйти.

Он попытался придать мне нужную позу, заставить меня положить сумочку и облокотиться на спинку кушетки. Но я не могла. Сама не знаю почему, но я чувствовала себя униженной. И пока месье Лефевр работал, поглядывая на меня из-за мольберта и уже не пытаясь поддержать разговор, до меня начало потихоньку доходить, что, вопреки своим тайным мечтам, я не являюсь объектом его обожания, поскольку он явно смотрел сквозь меня. Похоже, я была для него *вещью*, предметом, таким же незначительным, как та зеленая бутылка или яблоко на натюрморте, висевшем возле двери.

Более того, не приходилось сомневаться в том, что сложившаяся ситуация ему тоже не нравится. Чем меньше времени оставалось до конца сеанса, тем более взволнованным он казался и тем тяжелее вздыхал, демонстрируя свое разочарование. Я сидела, застыв точно статуя. Мне казалось, будто я делаю что-то не так.

– Мадемуазель, давайте закончим, – наконец сказал он. – Похоже, бог угля сегодня от меня отвернулся.

Я с облегчением выпрямилась, вытянув шею, чтобы получше разглядеть рисунок.

– Можно мне посмотреть?

Да, на картине была изображена именно я, но нарисованная девушка почему-то казалась безжизненной, словно фарфоровая кукла. На лице ее застыло выражение угрюмой неприступности, совсем как у чопорной старой девы. Я изо всех сил старалась не выдать своего разочарования.

– Наверное, я не та натурщица, которая вам нужна.

– Нет, мадемуазель, вы здесь ни при чем, – пожал он плечами. – Я... Я недоволен собой.

– Если желаете, я могу прийти еще раз в воскресенье, – сама себе удивляясь, поскольку опыт оказался не из приятных, произнесла я.

В ответ он улыбнулся. Я только сейчас заметила, какие у него добрые глаза.

– Это... Это было бы весьма великодушно с вашей стороны. Не сомневаюсь, в следующий раз мне непременно удастся отдать вам должное.

Но в воскресенье все было точно так же. Я старалась, старалась, как могла. Я лежала, закинув руку на спинку кушетки, тело мое было изогнуто, точь-в-точь как у отдыхающей Афродиты, которую он показал мне в книжке, юбка мягкими складками облепила ноги. Я попыталась расслабиться и смягчить выражение лица, но в такой неудобной позе корсет безжалостно впивался в тело, а из прически выбилась непослушная прядь волос, которую мне нестерпимо хотелось поправить. Эти мучительные два часа показались мне вечностью. И, еще не увидев картины, по выражению лица месье Лефевра я поняла, что он снова разочарован.

«Неужели это я?» – думала я, глядя на девушку с мрачным лицом, которая была похожа скорее не на Венеру, а на вечно недовольную домохозяйку, в который раз вытиравшую пыль с мягкой мебели.

Думаю, на сей раз он даже меня пожалел. У меня закралось подозрение, что я оказалась самой некрасивой из всех его натурщиц.

– Дело вовсе не в вас, мадемуазель. Иногда... требуется время, чтобы уловить сущность человека.

Однако больше всего меня огорчало другое: я боялась, что он уже уловил мою сущность.

Я встретила его снова в День взятия Бастилии. Я пробиралась по украшенным огромными красно-бело-синими флагами и гирляндами душистых цветов многолюдным улочкам Латинского квартала, то ныряя, то выныривая из толпы людей, собравшихся посмотреть на марширующих с ружьями на плече солдат.

Весь Париж ликовал. И хотя я обычно не жаловалась на отсутствие компании, в тот день мне было страшно одиноко и как-то странно щемило грудь. Дойдя до Пантеона, я остановилась: улица Суффло была запружена народом, плясавшим и веселившимся – все женщины в широкополых шляпах и длинных юбках – под музыку оркестра возле кафе «Леон». Танцующие грациозно кружились, некоторые просто стояли на тротуаре напротив друг друга и переговаривались, точно улица была одним большим балльным залом.

И посреди всей этой пестрой толпы за столиком кафе я увидела его. На шее у него был яркий шарф. Рядом с ним в окружении свиты, по-хозяйски положив ему руку на плечо, сидела Мистингетт и рассказывала что-то явно очень смешное, так как в ответ он раскатисто хохотал.

Я оторопело смотрела на них. И тогда, возможно почувствовав мой пристальный взгляд, он оглянулся и увидел меня. Зардевшись, я быстро шмыгнула в подворотню и поспешила в обратном направлении. Я пробиралась между танцующими парами под стук своих сабо по булыжной мостовой. Но буквально через несколько секунд услышала у себя за спиной его голос:

– Мадемуазель!

Не ответить было невозможно, и я оглянулась. В какой-то момент мне показалось, будто он собирается меня обнять, но что-то в моем поведении остановило его. Вместо этого он легонько тронул меня за руку и махнул в сторону людского водоворота.

– Как я рад, что натолкнулся на вас, – сказал он. Я начала извиняться, запинаясь и с трудом подбирая слова, но он остановил меня: – Пойдемте, мадемуазель! Это народный праздник. И даже самые усердные должны позволять себе время от времени расслабляться.

Вокруг нас легкий ветерок полоскал флаги. Они хлопали в такт ударам моего неровно бьющегося сердца. Я отчаянно искала вежливый способ выйти из неловкой ситуации, но он опять меня опередил:

– Мадемуазель, к своему стыду, должен признаться, что, несмотря на наше знакомство, до сих пор не знаю, как вас зовут.

– Бессетт, – ответила я. – Софи Бессетт.

– Тогда, ради бога, мадемуазель Бессетт, позвольте угостить вас каким-нибудь напитком.

Но я решительно покачала головой. Мне было нехорошо, словно одно то, что я пришла сюда, лишило меня последних сил. Я посмотрела поверх его головы туда, где в окружении друзей сидела Мистингетт.

– Ну, не стесняйтесь! – потянул он меня за руку.

И тут великая Мистингетт посмотрела прямо на меня.

Клянусь, когда он взял меня за руку, на ее лице промелькнуло легкое раздражение. На

фоне этого человека, Эдуарда Лефевра, самая яркая парижская звезда вдруг показалась тусклой и невыразительной. Более того, он предпочел меня ей.

– Благодарю вас. Разве что стакан воды, – бросила я на него робкий взгляд.

– Мисти, душечка, это Софи Бессетт, – произнес он, подведя меня к столику.

На лице ее все еще играла улыбка, но взгляд, которым она окинула меня, был ледяным.

Интересно, помнила ли она, что я обслуживала ее в нашем магазине.

– Сабо! – воскликнул какой-то господин за ее спиной. – Надо же, как... оригинально!

В ответ раздался взрыв хохота, и я почувствовала, что у меня горит лицо. И тогда, сделав глубокий вдох, я как можно более спокойно ответила:

– Они должны появиться в универмаге к весеннему сезону. Последняя новинка. Это *la mode paysanne*^[14]. – И тут же почувствовала на спине пальцы Эдуарда.

– Ну, мадемуазель Бессетт, у которой, наверное, самые тонкие щиколотки во всем Париже, вполне может себе это позволить.

И вся компания моментально притихла, словно обдумывая слова Эдуарда, а Мистингетт отвернулась.

– Какая прелесть! – ослепительно улыбнулась она. – Эдуард, дорогой, мне пора. Очень много дел. Загляни ко мне, как только сможешь. Договорились?

Она протянула ему для поцелуя затянутую в перчатку руку, и я с трудом отвела глаза от его губ. Когда она уходила, по толпе пробежала легкая рябь, будто Мистингетт шла по воде.

А мы остались сидеть за столиком. Эдуард Лефевр небрежно откинулся на спинку стула, точно он был на взморье, я же от неловкости чувствовала себя ужасно скованно. Ни слова не говоря, он протянул мне напиток, и в выражении его лица было что-то извиняющееся и одновременно – если я не ошиблась – неуловимо ироничное. Словно все они были настолько смешны, что мне даже не стоило обижаться. Я видела вокруг веселых танцующих людей, слышала их задорный смех, а над головой раскинулось бескрайнее синее небо. Все это подействовало на меня так успокаивающе, что я потихоньку расслабилась. Эдуард разговаривал со мной предельно вежливо, расспрашивал меня о том, как я жила до того, как попала в Париж, о нравах в нашем универмаге. Время от времени он прерывался на то, чтобы, перекатив сигарету в уголок рта, крикнуть «Браво!» музыкантам из оркестра и хлопнуть им поднятыми вверх могучими руками. Он знал здесь буквально всех. Я уже сбилась со счета, сколько людей остановилось поздороваться с ним или угостить его выпивкой. Среди них были художники, лавочники, женщины сомнительного поведения. Я чувствовала себя так, будто находилась в обществе королевской особы. Более того, я ловила на себе любопытные взгляды. Наверняка они удивлялись, что делает мужчина, при желании способный заполнить Мистингетт, в обществе девицы типа меня.

– Девушки из магазина говорили, что видели, как вы разговариваете с *les putains* с улицы Пигаль, – не смогла сдержать любопытства я.

– И это правда. Со многими из них действительно весело.

– А вы их рисуете?

– Когда могу позволить себе оплатить их время. – Он кивнул мужчине, приподнявшему шляпу. – Они прекрасные натурщицы. И как правило, абсолютно не стесняются своего тела.

– В отличие от меня.

Он заметил, что я слегка покраснела. После секундного колебания, словно извиняясь, он накрыл мою руку своей и тем самым совсем вогнал меня в краску.

– Мадемуазель, – тихо сказал он. – В том, что те картины получились неудачно, виноват

только я. Вашей вины здесь нет. Я должен был... – Он сменил тон. – У вас есть другие достоинства. Вы завораживаете меня. И вас не так-то легко запугать.

– Да, – согласилась я. – Что есть, то есть.

Мы ели хлеб, сыр и оливки, причем я еще никогда не пробовала таких вкусных оливок. Он пил пастис, со вкусом опрокидывая каждый стакан. Время шло, и уже перевалило далеко за полдень. Смех становился все громче, спиртного становилось все больше. Я позволила себе два стаканчика вина и постепенно начала получать удовольствие от жизни. Здесь, на улице, в этот чудесный день, я больше не чувствовала себя провинциалкой, продавщицей на предпоследней ступеньке социальной лестницы. Нет, сейчас я была полноправной участницей празднования Дня взятия Бастилии.

А затем Эдуард, отодвинув стол, поднялся и встал прямо передо мной.

– Потанцуем? – спросил он.

У меня не было причин отказать ему. Тогда я взяла его за руку, и мы влились в людской водоворот. Я не танцевала с тех пор, как покинула Сен-Перрон. И теперь слышала, как в ушах свистит ветер, чувствовала его руку у себя чуть пониже спины, а мои сабо казались непривычно легкими. От него пахло табаком, анисовым семенем и еще чем-то очень мужским, отчего у меня захватывало дух.

Понятия не имею, что это было. Выпила я совсем немного, поэтому вино оказалось вовсе ни при чем. И не то чтобы он был так уж хорош собой или в моей жизни не хватало присутствия мужчины.

– Нарисуйте меня еще раз, – попросила я.

Он остановился и озадаченно посмотрел на меня. Но я не осуждала его, так как и сама ужасно смутилась.

– Нарисуйте меня снова. Сегодня. Прямо сейчас.

Он ничего не ответил, а только подошел к столику, взял сигареты, и мы, протиснувшись сквозь толпу, пошли по многолюдным улицам к его мастерской.

Мы поднялись по узкой деревянной лестнице, он открыл дверь солнечной мастерской, и я осталась ждать, пока он снимет пиджак, поставит граммофонную пластинку и начнет смешивать на палитре краски. Он занимался делами, напевая себе под нос, а я тем временем начала расстегивать блузку. Затем сняла сабо и чулки. Вылезла из верхних юбок, оставшись только в корсете, сорочке и белой нижней юбке. Потом вынула шпильки и распустила волосы по плечам. Он повернулся ко мне, судорожно вздохнул и удивленно заморгал.

– Примерно так? – спросила я.

На его лицо набежала тень беспокойства. Вероятно, он боялся, что кисть опять его подведет. Я сидела с высоко поднятой головой, глядя ему прямо в глаза. Смотрела на него так, будто бросала вызов. Однако художник в нем взял верх, и он углубился в созерцание моей молочной кожи, моих рыжевато-каштановых волос, и все сомнения, что ему не удастся добиться сходства, разом отпали.

– Да, именно так. Пожалуйста, наклоните голову чуть влево, – попросил он. – А теперь рука. Разожмите слегка пальцы. Идеально.

Он приступил к работе, а я внимательно за ним наблюдала. Он обследовал взглядом каждый дюйм моего тела, словно не мог допустить ни малейшей неточности. Я смотрела, как лицо его постепенно приобретает довольное выражение, и видела себя будто в зеркале. У меня больше не было внутренних запретов. Да, я была Мистингетт, уличной девицей с Пигаль, смелой и уверенной в себе. Мне хотелось, чтобы он получше пригляделся к ямке на

шее над ключицами, к моим волосам с их скрытым от посторонних глаз блеском. Мне хотелось полностью раскрыться перед ним.

Пока он писал, я изучала черты его лица, манеру мурлыкать себе под нос, когда он смешивал краски. Смотрела, как он шаркает ногами, будто старик. Хотя какой он старик! Он был моложе и крепче всех тех мужчин, что приходили в магазин. Я вспомнила, как он ел: с нескрываемым жадным удовольствием. Он пел под граммофонные пластинки, рисовал, когда хотел, общался, с кем хотел, и говорил то, что думал. И мне захотелось жить так, как живет Эдуард: весело, наслаждаясь каждой секундой бытия, петь для души.

А потом неожиданно стемнело. Он отложил кисти и огляделся по сторонам, будто только сейчас это заметил. Он зажег свечи, газовые лампы и расставил их вокруг меня, но потом тяжело вздохнул, поняв, что ему не удалось рассеять мрак.

– Вы не замерзли? – спросил он.

Я покачала головой, но он все же достал из комода ярко-красную шерстяную шаль и набросил мне на плечи.

– Все. Работать при таком свете невозможно. Хотите посмотреть, что получилось?

Тогда я поплотнее завернулась в шаль и, осторожно ступая босыми ногами по деревянным половицам, подошла к мольберту. Я была точно во сне, мне казалось, будто за те часы, что я позировала, реальная жизнь каким-то чудом растворилась. Мне было страшно взглянуть на мольберт и тем самым разрушить чары.

– Ну, смелее! – пригласил он меня подойти поближе.

На полотне я увидела девушку, которую не сразу узнала. Она вызывающе смотрела на меня с картины, волосы ее в полумраке отливали медью, кожа была белой как алебастр, в ней чувствовалась властная уверенность аристократки.

Она была одновременно и удивительной, и прекрасной, и очень гордой. Я словно смотрелась в волшебное зеркало.

– Да, я знал, – тихо произнес он. – Я сразу разглядел это в вас.

Несмотря на усталый и напряженный взгляд, вид у него был довольный. И тогда, сама не понимая почему, я подошла к нему вплотную и взяла его лицо в свои ладони. Его лицо было совсем рядом с моим, и я заставляла его смотреть прямо на меня, словно таким образом желала постичь, что именно он видит.

Я никогда особо не стремилась к интимной близости с мужчиной. Животные звуки и крики, раздававшиеся из родительской спальни, особенно когда отец напивался, были мне отвратительны, и я ужасно жалела мать, которая на следующий день еле ходила и прятала от нас лицо в синяках. Но то, что я испытывала к Эдуарду, оказалось сильнее меня. И я не могла отвести глаз от его губ.

– Софи...

Но я почти не слышала его. Я привлекла его лицо еще ближе к своему. Окружающая нас действительность словно исчезла. Я чувствовала под руками колючую щетину на его щеках, чувствовала на своей коже его теплое дыхание. Он пристально вглядывался мне в глаза. Клянусь, у него был такой вид, будто он только теперь по-настоящему увидел меня.

Я наклонилась вперед и со вздохом прижалась губами к его губам. Его руки легли мне на талию и инстинктивно сжали ее. Он слегка приоткрыл рот, и я вдохнула в себя его влажное, теплое дыхание со следами табака и вина. Боже мой! Мне хотелось, чтобы он вобрал меня в себя. Я закрыла глаза. Тело мое было словно наэлектризовано и, казалось, мне больше не принадлежало. Его руки запутались в моих волосах, а губы прижались к шее.

Гуляки на улице громко хохотали, и, услышав, как полощутся флаги на ночном ветру, я поняла, что во мне что-то навсегда изменилось.

– О Софи, я готов рисовать тебя хоть каждый день до конца своей жизни, – прошептал он.

Мне послышалось именно слово «рисовать», хотя сейчас это уже было совершенно неважно.

Старинные напольные часы Рене Гренье начали звонить. Что, по общему мнению, было полной катастрофой. Часы были закопаны подальше от загребущих лап оккупантов под грядкой с овощами возле его дома вместе с серебряным чайником, четырьмя золотыми монетами и дедушкиным карманным хронометром.

До сих пор план работал вполне хорошо – и действительно, горожане буквально топтали ногами ценности, спешно зарытые в садах и под проезжими тропами, – пока в одно холодное ноябрьское утро мадам Полин не ворвалась в бар, оторвав Рене Гренье от партии в домино, с сообщением, что каждые четверть часа из-под грядки с остатками его моркови доносится приглушенный бой часов.

– Я слышала его собственными ушами, – шептала она. – А если уж слышала я, то можете не сомневаться, что они тоже услышат.

– А вы уверены, что это был именно бой часов? – уточнила я. – Ведь часы уже давным-давно не заводили.

– Наверное, это просто мадам Гренье переворачивалась в гробу, – заметил месье Лафарж.

– В жизни не стал бы хоронить жену под грядкой с овощами, – проворчал Рене. – Они тогда стали бы горькими и чахлыми.

Я остановилась вытряхнуть пепельницы и, понизив голос, сказала:

– Рене, вам необходимо выкопать их под покровом ночи и завернуть в мешковину. Сегодня самый подходящий день. Они доставили дополнительные продукты для ужина. Если большинство из них будет здесь, то на дежурстве практически никого не останется.

Прошел уже целый месяц с тех пор, как немцы решили столоваться в «Красном петухе», и на его поделенной территории установилось хрупкое перемирие. С десяти утра до половины шестого бар был французским, и там, как всегда, сидели в основном пожилые и одинокие посетители. Затем мы с Элен наводили порядок и начинали стряпать для немцев, которые приходили около семи и сразу же требовали, чтобы подавали еду. Вся наша выгода состояла в том, что, если несколько раз в неделю оставались какие-то продукты, мы могли брать их себе, хотя теперь это уже были не жареные цыплята, а ошметки мяса и кусочки овощей. Чем холоднее становилось на улице, тем больше ели немцы, а нам с Элен не хватало духа утаивать что-то для себя. И все-таки даже эти перепадающие нам время от времени крошки с чужого стола все меняли. Жан стал не так часто болеть, наша кожа разгладилась, а иногда нам даже удавалось тайком отнести сваренного из костей бульона в дом мэра для вечно хворающей Луизы.

Имелись и другие преимущества. Как только немцы вечером покидали бар, мы с Элен опрометью бросались к камину, доставали оттуда обугленные поленья и оставляли их в кладовой сушиться. За несколько дней можно было собрать достаточно головешек, чтобы в особенно холодную погоду развести днем огонь. В такие дни в наш бар набивалась куча народу, хотя выпивку заказывали очень немногие.

Но, само собой разумеется, были здесь и свои отрицательные стороны. Мадам Дюран и мадам Лувье почему-то решили, что, хоть я и не общаюсь с офицерами, не улыбаюсь им и не воспринимаю их иначе, чем неизбежное зло, мне все равно что-то перепадает от их щедрот. И каждый раз, внося в дом продукты, вино и топливо, я чувствовала на себе их колючий

взгляд. Я прекрасно знала, что мы являемся предметом самых живых обсуждений на площади. Единственным утешением служило то, что комендантский час лишал их возможности увидеть, какие роскошные ужины мы готовили для офицеров, как оживал наш отель с наступлением темного времени суток, наполняясь музыкой и мужскими голосами.

Мы с Элен свыклись с иностранной речью в своем доме. Мы даже стали узнавать некоторых наших ночных гостей. Был среди них высокий, тощий, лопухий немец, который постоянно норовил поблагодарить нас на своем языке. А еще один, с седоватыми усами, страшно раздражительный, вечно всем недовольный – он постоянно требовал то соль, то перец, то дополнительную порцию мяса. И маленький Холгер, который слишком много пил и все время смотрел в окно, словно мысли его витали где-то далеко отсюда. Мы с Элен кивали в ответ на их замечания, стараясь быть вежливыми, но без намека на дружелюбие. И положив руку на сердце, иногда нам даже нравилось принимать их здесь. Нет, не немцев, конечно, а просто живых людей. Нравилось, что в доме появились мужчины, стало шумно и наконец запахло едой. Мы изголодались по мужскому обществу, истосковались по нормальной жизни. Но в иные вечера, когда что-то явно шло не так, они ели молча, с каменными лицами, а если и переговаривались, то отрывистым шепотом. Они настороженно оглядывались по сторонам, будто знали, что мы враги. Будто мы могли хоть что-то понять из их разговоров.

Но Орельен учился. Он часами лежал на полу в комнате номер три, прижавшись лицом к дыре в полу, в надежде в один прекрасный день увидеть карту или приказ, способные обеспечить французам военное преимущество. Он на удивление преуспел в немецком. После ухода немцев он обычно передразнивал их акцент или говорил что-то такое, отчего мы смеялись до слез. Иногда ему удавалось понять даже отдельные фразы: сколько офицеров было в *der Krankenhaus* (госпитале), сколько человек было *tot* (убито). Я, конечно, очень боялась за него, но в то же время гордилась им. Благодаря Орельену у меня возникло ощущение, что, стряпая на немцев, я выполняю какую-то тайную миссию.

Тем временем комендант был неизменно предельно вежлив. Он здоровался со мной если не с теплотой в голосе, то очень любезно. Хвалил еду, но не старался польстить и держал в узде своих людей – не давал им слишком много пить и распускать руки.

Несколько раз он завязывал со мной разговор об искусстве. С одной стороны, я чувствовала себя крайне неловко, беседуя с ним с глазу на глаз, но с другой – мне доставляло удовольствие все, что напоминало о муже. Комендант говорил о своем восхищении Хансом Пурманном, художником немецкого происхождения, а также Матиссом, картины которого пробудили в нем страстное желание побывать в Москве и Марокко.

Поначалу я разговаривала с ним крайне неохотно, но затем поймала себя на том, что не могу остановиться. Мне словно напомнили о другой жизни, другом мире. Он был впечатлен успехами художников из Академии Матисса, неважно, что ими двигало – соперничество или любовь к искусству. Комендант разговаривал совсем как адвокат – его речь была быстрой, а рассуждения – здравыми – и сердился, если его не понимали с полуслова. Думаю, он любил со мной беседовать именно потому, что я не робела в его присутствии. Похоже, мой характер не позволял мне показывать, что я хоть чего-то боюсь, даже если в душе умираю от страха. Эта черта в свое время позволила мне выдержать снобистское окружение парижского универмага, да и сейчас сослужила хорошую службу.

Коменданту особенно нравился мой портрет, висевший в баре. Он всегда долго смотрел на него, обсуждая достоинства техники нанесения красок крупными мазками, и у меня сразу

исчезало чувство неловкости по поводу того, что на картине была изображена именно я.

Однажды он признался мне, что родители его были люди простые, не слишком культурные, но всегда поощряли в нем страсть к знаниям. И, по его словам, он очень надеялся, что после войны продолжит свои интеллектуальные занятия, будет путешествовать, читать и учиться. Его жену звали Лизл. А еще у него был ребенок. Двухлетний мальчик, которого он до сих пор не видел. Когда я поделилась этим с Элен, то думала, что глаза ее затуманятся от жалости, но она ответила, что, мол, надо дома сидеть, а не оккупировать другие страны.

Он рассказал мне о своей семье как бы мимоходом, не ожидая от меня взамен информации личного плана. Причем дело было вовсе не в его эгоизме; похоже, комендант понимал, что, заняв мой дом, он в какой-то степени вторгся в мою личную жизнь и не имел права требовать большего. Я подозревала, что все-таки было в нем нечто джентльменское.

В тот первый месяц мне с каждым днем было труднее считать коменданта животным, грязным бошем, как остальных немцев. Я, кажется, сама поверила в то, будто все немцы варвары, и не могла представить, что у них есть матери, жены и дети. Но вот появился он. Он ел за моим столом, разговаривал, рассуждал о цвете, форме и мастерстве других художников, совсем как мой муж. Время от времени он улыбался, и тогда от уголков его ярко-голубых глаз разбегались гусиные лапки, словно веселость была для него более органичной чертой, чем напускная суровость.

Я никогда не защищала коменданта и никогда не обсуждала его с жителями нашего города. Если кто-то пытался затеять со мной разговор, какой это тяжкий крест – принимать немцев в «Красном петухе», я всегда отвечала, что бог даст, и скоро настанет день, когда вернутся наши мужья, а прошлое останется только в воспоминаниях.

И мне оставалось лишь молиться, чтобы никто не заметил, что с тех пор, как в моем доме появились немцы, к нам ни разу не приходили с приказом о реквизиции.

Незадолго до полудня я выбралась из душного бара и отошла в сторонку под предлогом, будто мне надо выбить ковер. В тени земля еще была покрыта тонкой корочкой из сверкающих кристалликов льда, и пока я несла ковер по боковой улочке в сторону сада Рене, даже успела немного замерзнуть. И я действительно услышала приглушенный бой часов, говоривший о том, что сейчас без четверти двенадцать.

Когда я вернулась, разномастная компания престарелых завсегдаев уже собиралась покидать бар.

– Мы будем петь, – объявила мадам Полин.

– Что?

– Мы будем петь и тем самым заглушим бой часов. Скажем им, что это такой французский обычай. Авернские песни. Любые, какие вспомним. Откуда им знать?!

– Вы что, собираетесь петь целый день?

– Конечно нет. Примерно час. Только если поблизости появятся немцы, – объяснила она и, поймав мой изумленный взгляд, добавила: – Софи, если они найдут часы Рене, то перекопают весь город. А я вовсе не намерена отдавать свои жемчуга какой-то там немецкой Hausfrau. – И рот ее брезгливо скривился.

– Ну тогда вам стоит поторопиться. Когда часы пробьют полдень, их услышит половина жителей Сен-Перрона.

Это было даже забавно. Я забралась на верхнюю ступеньку и оттуда наблюдала, как

группа стариков остановилась в переулке, повернулась лицом к немцам, все еще торчащим на площади, и начала петь. Они пели нестройными, скрипучими голосами песни моего детства, а также «La Pastourelle», «Bailero», «Lorsque J'étais petit». Они стояли плечом к плечу, с гордо поднятой головой, время от времени поглядывая друг на друга. Вид у Рене был сердитый и озабоченный. Мадам Полин набожно сложила перед собой руки, совсем как учительница в воскресной школе.

Я стояла с посудным полотенцем в руках, еле сдерживая улыбку. И тут увидела, что ко мне направляется комендант.

– Что здесь делают эти люди?

– Доброе утро, господин комендант.

– Вы ведь прекрасно знаете, что на улице категорически запрещены любые собрания.

– Это скорее не собрание, а музыкальный фестиваль, господин комендант. Французская традиция. В ноябре, в определенный час, пожилые жители Сен-Перрона поют народные песни, чтобы отдалить начало зимы, – весьма убедительно заявила я.

Комендант нахмурился, оглянулся на стариков. Дребезжащие голоса в унисон вздымались ввысь, и я догадалась, что за спиной певцов уже начали бить часы.

– Но они просто ужасны, – понизив голос, произнес он. – В жизни не слышал такого отвратительного пения.

– Пожалуйста... не надо им мешать. Пусть себе поют. Ведь это, как вы сами слышите, вполне невинные народные мелодии. Но старики получают маленькое удовольствие, когда раз в году поют песни родной земли. И вы, вне всякого сомнения, их поймете.

– Они что, собираются петь так целый день?

Похоже, его волновало отнюдь не большое скопление людей. Нет, он был совсем как мой муж: тому любое искусство, которое не было прекрасным, доставляло настоящую физическую боль.

– Вполне возможно, – ответила я.

Комендант замер, прислушиваясь к пению. И я сразу заволновалась. У него был верный глаз на живопись. А что, если еще и хороший слух?

– А я как раз думала, что бы вам такое приготовить на ужин, – резко сменила я тему.

– Что?

– Может быть, у вас есть любимые блюда? Конечно, выбор продуктов у нас невелик, но я могла бы сделать для вас что-нибудь особенное.

Я видела, как мадам Полин, словно случайно поднимая руки вверх, призывает остальных петь громче.

Комендант слегка оторопел. Я улыбнулась, и его лицо немного смягчилось.

– Это очень лю... – начал он, внезапно оборвав себя на полуслове.

По дороге во весь опор, взмахивая концами шерстяного шарфа, мчался Тьерри Артей и показывал на что-то за своей спиной. Комендант, сразу же забыв обо мне, стремительно развернулся к солдатам, которые начали собираться на площади. Я подождала, пока он отойдет подальше, и направилась к продолжавшим петь старикам. Элен и посетители «Красного петуха», должно быть услышав шум, прильнули к окнам, некоторые тут же вышли на улицу.

На минуту все замерло. И тут на главной улице появились они, примерно сто мужчин, шедших небольшой колонной. А рядом со мной продолжали петь старики. Когда они поняли, кто это идет, то сперва растерялись, но затем их голоса зазвучали мощно и уверенно. Среди

нас не было никого, кто не пытался бы найти среди устало бредущих солдат родное лицо. Но, так и не узнав никого, мы не почувствовали облегчения. Неужели это были французы? Они выглядели понурыми, мрачными и сломленными; одежда висела мешком на их исхудавших телах, раны были кое-как перевязаны заскорузлыми бинтами. Они прошли всего в нескольких футах от нас под охраной немецких солдат, возглавлявших и замыкавших колонну. А нам оставалось только смотреть, поскольку помочь им мы были не в силах.

И тут я услышала, что голоса стариков зазвучали громче и решительнее, более слаженно и стройно:

Я стою под дождем на ветру
И пою байлеру-леру.

У меня комок встал в горле, когда я подумала, что где-то там, далеко, вот так может идти и мой Эдуард. Я почувствовала, как Элен схватила меня за руку, и поняла, что она думает о том же.

Здесь трава зеленее.
Пой байлеру-леру...
А потом приду к тебе я
И тебя с собой заберу.

Мы, словно окаменев, вглядывались в лица пленных. Неожиданно рядом с нами возникла мадам Лувье. Юркая, как мышка, в черной шали, развевающейся на холодном ветру, она прошмыгнула между нами и сунула черный хлеб, который только что купила в *boulangerie*, прямо в руки тощего как скелет мужчины. Он поднял глаза, словно не понимая, в чем дело. Но тут к нему с громким криком подскочил немецкий солдат и, увидев, что именно получил пленный, прикладом ружья выбил хлеб из его рук. Буханка камнем упала в сточную канаву. Пение тут же прекратилось.

Мадам Лувье посмотрела на хлеб, затем подняла голову и завизжала, пронзая криком неподвижный воздух:

– Ты, животное! Вы, все немцы, животные! Хотите уморить голодом этих людей, точно собак! Что с вами такое? Вы все ублюдки! Сукины дети! – (Я в жизни не слышала от нее таких выражений. Казалось, оборвалась какая-то связывающая ее тонкая нить и она наконец освободилась.) – Тебе хочется кого-нибудь ударить? Ударь меня! Ну, давай же, вперед, бандитская рожа! Ударь меня! – Ее голос кнутом рассекал стылый воздух.

Я почувствовала, что Элен схватила меня за руку. Я молилась, чтобы старая женщина замолчала, но она продолжала визжать, тыча костлявым пальцем солдату прямо в лицо. Немец смотрел на нее с едва сдерживаемой яростью. Костяшки его пальцев, сжимающих приклад, побелели от напряжения, и я испугалась, что он действительно ее ударит. Ведь она была такой хрупкой, и от удара ее старые кости просто треснут и рассыплются.

Мы стояли затаив дыхание, но солдат только молча достал из канавы хлеб и протянул ей.

Мадам Лувье посмотрела на него как на грязь под ногами.

– И ты думаешь, я смогу есть этот хлеб, зная, что ты вышиб его из рук моего умирающего от голода брата?! Они все мои братья! Все мои сыновья! Vive la France! – выплюнула она в него, ее старые глаза горели фанатичным огнем. – Vive la France!

И, словно по команде, старики за моей спиной, бросив петь, эхом повторили:
– Vive la France!

Молодой солдат беспомощно оглядывался, ожидая команды от старшего по званию, но его отвлек крик, раздавшийся в голове колонны. Воспользовавшись суматохой, один из пленных бросился бежать. Молодой человек, с рукой на самодельной перевязи, выскользнул из колонны и помчался через площадь.

Комендант, который стоял вместе с еще двумя офицерами возле разбитого памятника мэру Леклерку, увидел его первым.

– Halt! – закричал он, но молодой человек, теряя на ходу ботинок не по размеру, припустил еще быстрее. – HALT!

Беглец бросил вещевой мешок и теперь, похоже, неся во весь опор. Он споткнулся, когда у него с ноги слетел второй ботинок, но сумел выправиться. Еще немного – и он скрылся бы за углом. Тогда комендант рывком вытащил из кобуры пистолет. И прежде чем я успела понять, что он собирается делать, поднял руку, прицелился и выстрелил. Пленный с хорошо слышным треском рухнул как подкошенный.

Мир вокруг нас застыл. Птицы умолкли. Мы смотрели на тело, распростертое на бульжной мостовой, и Элен глухо застонала. Она рванулась было к нему, но комендант приказал всем стоять на месте. Он что-то прокричал по-немецки, и конвоиры, подняв ружья, наставили их на пленных.

Никто не шелхнулся. Пленные стояли, хмуро глядя в землю. Похоже, такой поворот событий их не особенно удивил. Элен, прижав руки ко рту, что-то бормотала себе под нос. Я обняла ее за талию. Я слышала свое тяжелое дыхание.

Комендант резко отошел от нас и направился в сторону лежавшего парня. Он подошел к мертвецу, сел на корточки и прижал палец к его подбородку. Темно-красное пятно уже расплзлось по потертой куртке убитого, а глаза безжизненно смотрели в небо. Комендант просидел так с минуту, затем выпрямился. Двое офицеров направились было к нему, но он жестом приказал им встать в строй. Затем он пошел обратно через площадь, на ходу засовывая пистолет в кобуру. Поравнявшись с мэром, он остановился и коротко бросил:

– Позаботьтесь о том, чтобы сделать необходимые распоряжения.

Мэр молча кивнул. Я видела, как у него дрожит подбородок.

Подгоняемая громкими криками, колонна двинулась вперед. Пленные шли, уныло понурившись. Женщины Сен-Перрона уже совершенно открыто всхлипывали в носовые платки. Мертвое тело лежало кучей тряпья совсем рядом с рю де Бастид.

Меньше чем через минуту после ухода немцев часы Рене Гренье в абсолютной тишине печально пробили четверть второго.

В тот вечер настроение у всех в «Красном петухе» было мрачнее некуда. Комендант даже и не пытался завязать со мной беседу, а я всем своим видом давала понять, что у меня нет ни малейшего желания вступать в разговоры. Мы с Элен подали еду, помыли сковородки, стараясь лишней раз не высовываться из кухни. Есть мне совершенно не хотелось. Перед глазами стоял убитый парень в окровавленных лохмотьях, его свалившиеся с ноги ботинки не по размеру.

У меня не укладывалось в голове, что офицер, хладнокровно выгащивший пистолет и безжалостно пристреливший парня, был тем самым человеком, что сидел за моим столом, сокрушался, что еще не видел своего маленького сынишку, рассуждал об искусстве. Я чувствовала себя обманутой, словно комендант скрыл от меня свою истинную сущность. Ведь немцы явились сюда вовсе не затем, чтобы вкусно поесть и поговорить о прекрасном. Они явились сюда, чтобы убивать наших сыновей и мужей. Они пришли, чтобы уничтожить нас.

В тот момент я поняла, что моя тоска по мужу граничит с физической болью. Последнюю весточку от него я получила около трех месяцев назад. И не имела ни малейшего представления, где он и что с ним сейчас. Пока мы жили в искусственной изоляции, я еще могла уговаривать себя, что он находится в добром здравии и, в отличие от меня, живет в реальном мире, пускает по кругу фляжку с коньяком или чирикает что-то на клочке бумаги в свободное время. Когда я закрывала глаза, то вспоминала Эдуарда таким, каким помнила его по Парижу. Но после того, как я увидела колонну пленных французов, которых гнали по улицам нашего города, мне стало еще труднее держаться за свои фантазии. А что, если Эдуард сейчас в плену, израненный и умирающий от голода?

Я бессильно прислонилась к раковине и закрыла глаза.

В этот момент я услышала звон разбитой посуды. Очнувшись, я выбежала из кухни. Элен стояла, вскинув руки, спиной ко мне, у ног ее лежал поднос с осколками разбитых бокалов. Комендант держал какого-то молодого офицера за горло, прижав его к стене, и с искаженным лицом что-то кричал ему по-немецки. Офицер беспомощно поднял руки вверх, будто давая знать, что сдается.

– Элен?

Лицо ее было пепельно-серым.

– Он облапил меня, когда я шла мимо. Но... но господин комендант точно *с ума сошел*.

Теперь их уже окружили остальные. Они повскакали с мест, опрокинув стулья, и о чем-то умоляли коменданта, при этом старались перекричать друг друга. В баре стоял невыносимый шум. Видимо, комендант внял их уговорам и несколько ослабил хватку. Но тут он, похоже, поймал мой взгляд и, сделав шаг назад, со всей силой ударил парня в скулу, так что у того голова отлетела от стены.

– Sie können nicht berühren die Frauen!^[15] – закричал он.

– Быстро на кухню, – подтолкнула я сестру к двери, даже не позаботившись убрать осколки.

Я услышала громкие голоса, потом – как хлопнула дверь, и побежала за ней по коридору.

– Мадам Лефевр! – (Я как раз домывала уцелевшие бокалы. Элен уже легла в постель. События сегодняшнего дня вымотали ее больше, чем меня.) – Мадам?

– Господин комендант? – повернулась я к нему, вытирая руки посудным полотенцем.

На кухне горела только одна свеча, жалкий фитиль, плавающий в жиру в банке из-под сардин, и я почти не видела его лица.

Он стоял прямо передо мной, держа фуражку в руках.

– Прошу извинить меня за бокалы. Я позабочусь о том, чтобы вам прислали новые.

– Можете не трудиться. У нас осталось еще достаточно. – Я не сомневалась, что новые бокалы будут просто реквизированы у наших соседей.

– Примите мои извинения... за того офицера. Можете заверить вашу сестру, что подобное впредь не повторится.

Но я в этом и не сомневалась. Из заднего окна я видела, как нарушителя спокойствия выводят под руки его товарищи, к скуле у него была приложена мокрая тряпка.

Я надеялась, что комендант сейчас уйдет, но он остался стоять. Я чувствовала на себе его взгляд. В глазах у него застыла тревога, а возможно, и невысказанная боль.

– Еда сегодня была... выше всяких похвал. Как называется блюдо?

– Chou farci^[16], – ответила я, но он продолжал чего-то ждать, и когда пауза неприлично затянулась, добавила: – Это колбасный фарш с овощами и травами, завернутый в капустные листья и тушенный на медленном огне.

Он топтался на месте, разглядывая носки сапог, затем прошелся по кухне и остановился, ткнув пальцем в кружку с кухонными принадлежностями. Мне даже на секунду показалось, что он хочет их забрать.

– Очень вкусно. Все так и сказали. Вы меня спрашивали сегодня, какое у меня любимое блюдо. Так вот, если вас не затруднит, не могли бы вы почаще готовить именно это?

– Как вам будет угодно.

Сегодня вечером он был каким-то другим, более беспокойным, что ли. Я чувствовала, как в нем волнами поднимается возбуждение. Я гадала про себя, каково это – убить человека. Хотя для немецкого коменданта это, наверное, все равно что выпить чашку кофе.

Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать что-то еще, но я уже повернулась к своим кастрюлям. Я слышала, как в баре, за его спиной, офицеры, собираясь уходить, задвигают стулья. На улице шел дождь, и мелкие капли методично барабанили в стекла.

– Вы, должно быть, устали, – произнес он. – Оставляю вас с миром.

Я взяла поднос с бокалами и проводила его до дверей кухни. Уже на пороге он повернулся, так что мне пришлось посторониться, и, надев фуражку, спросил:

– Как поживает младенец?

– Жан? Спасибо, прекрасно. Разве что...

– Нет. Тот, другой младенец.

От удивления я чуть было не выронила поднос. Я попыталась взять себя в руки, но почувствовала, что шея начинает предательски краснеть. Что наверняка не ускользнуло от его внимания.

Когда ко мне вернулась способность говорить, я пробормотала внезапно охрипшим голосом, уставившись на поднос с бокалами:

– Надеюсь, мы все... насколько мы можем... с учетом сложившихся обстоятельств...

Казалось, комендант обдумывал мои слова.

– Берегите его. И не стоит выносить его слишком часто на холодный ночной воздух, – спокойно произнес он, а потом, задержав на мне взгляд чуть дольше положенного, повернулся и вышел из кухни.

В ту ночь, несмотря на усталость, я не сомкнула глаз. Я смотрела на Элен, которая спала очень беспокойно, что-то бормотала во сне и шарила рукой по постели в бессознательном стремлении проверить, на месте ли дети. В пять утра я вылезла в абсолютной темноте из кровати и, завернувшись в одеяла, на цыпочках спустилась вниз вскипятить воду для кофе. В обеденном зале до сих пор стояли запахи вчерашнего ужина: пахло золой из камина и колбасным фаршем, отчего у меня сразу заурчало в животе. Я сделала себе горячий напиток и, сев за барную стойку, смотрела, как над пустой площадью восходит солнце. Когда небо начало потихоньку розоветь, я смогла разглядеть правый дальний угол, где упал пленный. Я не знала, были у него жена и дети. Может быть, они сейчас сочиняют ему письмо или молятся о его благополучном возвращении. Сделав еще один глоток, я заставила себя отвернуться.

И, уже собираясь подняться наверх, чтобы одеться, я внезапно услышала, как кто-то скребется в дверь. Я вздрогнула от испуга, увидев тень за занавеской из хлопка. Завернувшись поплотнее в одеяла, я пристально вглядывалась в темный силуэт за дверью, гадая, кто бы это мог быть в столь ранний час. Неужели комендант решил вернуться, чтобы продолжать мучить меня намеками, что он все знает? Тогда я осторожно подошла к двери, приподняла занавеску и увидела, что это Лилиан Бетюн. Волосы она уложила в высокую прическу из локонов, а глаза подвела тенями. На ней было ее черное каракулевое манто. Пока я отодвигала засовы и открывала дверь, она испуганно озиралась по сторонам.

– Лилиан? Вы что... Вам что-то надо? – спросила я.

Она полезла в карман манто, достала какой-то конверт и сунула мне.

– Это вам, – сказала она.

– Но как... как вы смогли...

Подняв бледную руку, она покачала головой.

Мы уже несколько месяцев не получали писем. Немцы устроили нам информационный вакуум. Я держала письмо, забыв обо всем на свете, но потом вспомнила о приличиях:

– Не хотите зайти в дом? Может быть, кофе? У меня осталось немного настоящего кофе.

– Нет, спасибо. Мне пора домой к дочери, – вымученно улыбнулась Лилиан, и, прежде чем я успела открыть рот, она уже шла, ежась от холода, по улице, и мне слышен был только стук высоких каблучков по каменной мостовой.

Я опустила занавеску и снова закрыла дверь на засов. Затем я опустилась на стул и разорвала конверт. И давно забытый голос снова зазвучал у меня в ушах.

Дорогая Софи!

Я так давно ничего о тебе не слышал. Молю Бога, чтобы ты была жива и здорова. Даже в самые мрачные минуты своей жизни я продолжаю верить в лучшее и не сомневаюсь в том, что, если бы с тобой что-нибудь случилось, мои душевные струны непременно завибрировали бы, точно от звона далеких колоколов.

Не могу сообщить тебе ничего нового. И у меня нет никакого желания расцвечивать тот мир, что вокруг меня. А подобрать подходящие слова просто невозможно. Я только хочу, чтобы ты знала, драгоценная моя женушка, что я

здоров и физически, и душевно, причем сохранять бодрость духа мне помогают только мысли о тебе. Все солдаты здесь, как талисман, носят с собой фотографии своих любимых, которые служат им защитой от тьмы, – смятые, испачканные грязью снимки, которые дороже всех сокровищ мира. Но мне, Софи, чтобы вызвать тебя в своем воображении, не нужна твоя фотография: стоит только закрыть глаза – и я сразу вспоминаю твое лицо, твой голос, твой запах, и ты даже представить себе не можешь, как благотворно это на меня действует.

Я хочу, чтобы ты, моя дорогая, знала, что, в отличие от моих товарищей, я не просто радуюсь каждому прожитому дню, нет, я благодарю Господа за то, что каждый прожитый день приближает мое возвращение к тебе на целых двадцать четыре часа.

Твой Эдуард

Судя по дате, письмо было написано два месяца назад.

Не знаю, что сыграло свою роль – переутомление или шок от событий предыдущего дня, – поскольку я не из тех, кто чуть что плачет, но я, аккуратно положив письмо в конверт, опустила голову на руки и зарыдала в своей пустой, холодной кухне.

Я не могла объяснить остальным жителям нашего города, почему надо срочно резать свинью, но приближение Рождества стало прекрасным предлогом. Офицеры собирались ужинать в «Красном петухе», причем их должно было прийти больше, чем обычно, и тогда мы договорились, что, пока они будут здесь, мадам Полин соберет тайный *réveillon*^[17] у себя в доме, который находился всего через две улицы от площади. Если я сумею задержать немецких офицеров подольше, тесная компания городских жителей успеет спокойно зажарить поросенка в печи для выпечки хлеба, что мадам Полин держала в подвале, и съесть его. Элен поможет мне обслужить немцев, а затем незаметно проскользнет через дыру в нашем погребе, прошмыгнет по переулку, чтобы присоединиться к детям в доме мадам Полин. Те же, кто жил слишком далеко, чтобы пройти по городу незамеченным, останутся у мадам Полин после комендантского часа и спрячутся, в случае если немцы придут с проверкой.

– Но это несправедливо, – заметила Элен, когда я двумя днями позже изложила в ее присутствии свой план мэру. – Если ты останешься здесь, то будешь единственной, кто пропустит праздник. Нет, так не пойдет, ведь именно ты спасла свинью от немцев.

– Кто-то из нас должен остаться, – твердо заявила я. – Ты ведь знаешь, что для нас будет гораздо безопаснее, если офицеры соберутся в одном месте.

– Но без тебя все будет уже не так.

– Никогда не бывает, чтобы *все* было так, как хочется, – отрезала я. – И ты не хуже меня знаешь, что господин комендант непременно заметит мое отсутствие, – произнесла я и, увидев, что Элен переглянулась с мэром, добавила: – Элен, не стоит волноваться по пустякам. Ведь я *la patronne*. Он знает, что я здесь каждый вечер. Если меня не будет, то сразу заподозрит неладное. – Но тут я поймала себя на том, что слишком громко протестую, а потому продолжила примирительным тоном: – Оставьте мне немного мяса. Заверните в салфетку и принесите. Обещаю, что если у немцев будет достаточно еды, то постараюсь себя не обидеть. Я внакладе не останусь. Клянусь.

Они вроде бы успокоились, но я не могла сказать им правды. С тех пор как я поняла, что

комендант знает про свинью, мне напрочь расхотелось ее есть. И оттого, что он не стал нас разоблачать, уж не говоря о том, чтобы нас наказывать, я почувствовала не облегчение, а наоборот, крайнюю неловкость.

И теперь, видя, как он подолгу смотрит на мой портрет, я больше не испытывала гордости за то, что даже немец смог оценить талант моего мужа. Когда комендант заходил на кухню просто поболтать, я мгновенно напрягалась, опасаясь, что он опять начнет намекать на случай с поросенком.

– И снова, – начал мэр, – мы у тебя в неоплатном долгу.

Вид у него был подавленный. Луиза болела вот уже целую неделю; его жена однажды призналась мне, что стоит дочери заболеть, как мэр от беспокойства теряет сон.

– Не смешите меня, – резко сказала я. – По сравнению с тем, что делают сейчас наши мужчины, это всего лишь повседневная работа.

Но моя сестра слишком хорошо меня знала. Она не задавала вопросов в лоб, это было не в ее стиле. Но я чувствовала, что она наблюдает за мной, слышала, как меняется ее голос при любых разговорах о réveillon. И наконец, за неделю до Рождества, я не выдержала и призналась ей. Она сидела на краю постели и причесывалась. Рука, в которой она держала щетку, замерла.

– Как думаешь, почему он не дал делу хода? – спросила я, закончив рассказ.

Элен опустила голову, а потом посмотрела на меня с ужасом в глазах.

– Я думаю, ты ему нравишься, – ответила она.

Неделя перед Рождеством выдалась очень хлопотливой, хотя разгуляться было особенно не с чего. Элен и несколько дам постарше шили тряпичные куклы для ребятишек. Куклы, конечно, получались совсем примитивными: юбки из дерюги, а лица – из старых чулок с вышитыми глазами. Но для нас было очень важно, чтобы оставшиеся в Сен-Перроне дети получили хотя бы такое маленькое чудо в это безрадостное Рождество.

Я тоже потихоньку становилась храбрее. Уже два раза мне удалось стащить у немцев немного картофеля. Чтобы скрыть недостачу, я готовила им пюре, а картофель распихивала по карманам и переправляла самым слабым и больным. Я таскала мелкую морковь и засовывала в подол юбки, так чтобы, если меня вдруг остановят и начнут обыскивать, ничего нельзя было найти. Мэру я отнесла две банки куриных потрохов на бульон для Луизы. Девочка стало совсем бледной, ее часто лихорадило; жена мэра рассказала мне, что дочь немного задерживается в развитии и постепенно уходит в себя. Но когда я смотрела на нее, потерявшуюся на огромной старой кровати с рванными одеялами, апатичную, непрерывно кашляющую, то думала, что ее можно понять. Ну какой ребенок выдержит такую жизнь?!

Конечно, мы изо всех сил скрывали от детей самое худшее, но ведь они жили не в безвоздушном пространстве, а в мире, где мужчин убивают прямо на улице, где чужие дяди за волосы вытаскивают их матерей из кроватей, чтобы наказать за малейшую провинность вроде прогулки в запрещенных местах или неоказания немецкому офицеру должного уважения. Мими смотрела на происходящее большими серьезными глазами, в которых застыл молчаливый вопрос, что разбивало Элен сердце. А Орельен становился все злее. Я видела, как злоба кипит в нем, точно вулканическая лава, и мне оставалось только молиться о том, чтобы, когда вулкан начнет извергаться, мой брат не заплатил бы за это слишком высокую цену.

Но самой большой неожиданностью в ту неделю стала подброшенная мне под дверь

газета с плохо пропечатанным шрифтом под названием «Journal des Occupés»^[18]. Единственным официально разрешенным в Сен-Перроне средством массовой информации была «Bulletin de Lille»^[19], которая являлась настолько откровенной немецкой пропагандой, что большинство из нас использовали ее исключительно для растопки. Но в «Journal des Occupés» все же давалась какая-никакая информация о военных действиях и назывались все оккупированные города и деревни. Там приводились комментарии к официальным коммюнике, а также юмористические заметки об оккупации, лимерики на тему черного хлеба и карикатуры на ответственных за его поставки офицеров. И всех читателей настоятельно просили не интересоваться источником распространения газеты, а после прочтения сжечь.

Там приводился список так называемых десяти директив фон Генриха, где высмеивались наложенные на жителей Франции мелочные ограничения.

Трудно выразить словами, насколько воодушевило жителей нашего города это четырехстраничное издание. За несколько дней до réveillon в баре наблюдался стабильный приток посетителей, которые или просматривали газету в туалете (днем мы прятали ее в корзине под старой бумагой), или передавали информацию и самые удачные шутки из уст в уста. Мы так много времени проводили в уборной, что немцы даже забеспокоились, не началась ли в городе эпидемия какой-то заразной болезни.

Из газеты мы узнали, что все соседние города постигла та же участь. Мы слышали о существовании ужасных лагерей для военнопленных, где мужчин морили голодом и заставляли работать до седьмого пота. Мы обнаружили, что в Париже не знают о нашем бедственном положении, а из Рубе, где запасов продовольствия было даже меньше, чем в Сен-Перроне, эвакуировали четыреста женщин и детей. Не то чтобы в такой обрывочной информации содержалось что-то полезное, но она напоминала нам о том, что мы до сих пор являемся частью Франции и тяготы войны выпали на долю и других городов, а не только на нашу. Но самое главное, газета сама по себе являлась предметом нашей гордости, поскольку свидетельствовала о том, что французы не утратили способность сопротивляться немецким порядкам.

Мы отчаянно спорили о том, каким образом могла попасть к нам газета. То обстоятельство, что ее принесли именно в «Красный петух», несколько смягчило растущее недовольство жителей по поводу нашей с Элен работы на немцев. Я же смотрела, как Лилиан Бетюн идет в своем каракулевым манто за хлебом, и у меня появлялись собственные соображения на этот счет.

Комендант настоял, чтобы мы поели. Такова привилегия поваров в ночь перед Рождеством, сказал он. И мы приготовили ужин на восемнадцать персон с учетом себя, то есть семнадцатой и восемнадцатой оказались я и Элен. Мы целый вечер суетились на кухне, но забыть об усталости позволяла тихая радость от того, что через две улицы от нас готовятся к тайному празднованию Рождества и мы наконец-то сможем накормить детей досыта. Поэтому две дополнительные порции казались даже излишеством.

Хотя, возможно, и нет. Я ни за что не отказалась бы от еды. А она была бесподобной: жареная утка с дольками апельсина и консервированным имбирем, картофель dauphinoise с зеленой стручковой фасолью и сырная тарелка. Элен была в полном восторге, что сегодня будет ужинать дважды.

– Я могу отдать кому-нибудь свою порцию свинины, – заявила она, обгладывая косточку. – Оставлю себе только корочку. Как думаешь?

Приятно было видеть ее такой жизнерадостной. Наша кухня снова стала местом для веселья, хотя и на одну ночь. Кроме того, мы позволили себе зажечь больше свечей, чем обычно, и здесь сразу стало светлее. А еще у нас запахло Рождеством, так как Элен разделила апельсин на дольки и повесила над плитой, чтобы его аромат наполнил кухню. И если ни о чем не думать, а просто прислушиваться к звону бокалов, смеху и разговорам за стеной, то можно забыть, что в соседней комнате сидят немцы.

Примерно в половине десятого я, укутав сестру потеплее, помогла ей спуститься по лестнице, чтобы она могла попасть через дыру в соседский погреб и вылезти через люк для угля. Она должна была пробраться задворками к дому мадам Полин, где ее будут ждать Орельен и дети, которых мы отвели туда днем. Свинью мы доставили к мадам Полин еще накануне. К Рождеству она сумела нагулять жир, и справиться с ней было непросто. Чтобы она не визжала, Орельену пришлось ее крепко держать, а я отвлекала ее с помощью яблока. А потом мясник месье Фубер зарезал ее одним ударом ножа.

Пока я снова закладывала дыру кирпичами, я не переставала прислушиваться к мужским голосам в баре. И с удовлетворением отметила, что впервые за много месяцев не дрожу от холода. Где голод, там и холод, этот урок я усвоила на всю жизнь.

– Эдуард, надеюсь, что тебе сейчас тепло, – прошептала я, слушая, как шаги сестры затихают по ту сторону стены. – Надеюсь, что ты сытно поел, совсем как мы сегодня.

Когда я снова оказалась в коридоре, то чуть было не подпрыгнула от испуга. Там стоял комендант и смотрел на мой портрет.

– Никак не мог вас найти. Я почему-то думал, что вы на кухне.

– Я... Я просто вышла подышать воздухом, – пролепетала я.

– Вот смотрю на эту картину и каждый раз нахожу в ней что-то новое. В ней есть нечто загадочное. Я хочу сказать: в вас, – улыбнулся он, поняв, что оговорился. – В вас есть нечто загадочное, – произнес он и, не дождавшись от меня ответа, продолжил: – Надеюсь, я вас не слишком смущу, если скажу, что такой прекрасной картины я никогда в жизни не видел.

– Да, чудесное произведение искусства.

– Но вы молчите о его сюжете, – улыбнулся он, но я снова не ответила. Он пригубил вина из бокала и, задумчиво глядя на рубиновую жидкость, спросил: – Мадам, вы что, действительно считаете себя некрасивой?

– Мне кажется, что только зритель способен оценить красоту. Когда мой муж говорит мне, что я красива, то я ему верю, поскольку знаю, что он видит меня именно такой.

Тогда он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, не давая мне отвести взгляд. Это продолжалось так долго, что я начала задыхаться.

Глаза Эдуарда были зеркалом его души и говорили о нем все. Взгляд коменданта был напряженным, цепким, но не открытым, словно он хотел спрятать свои истинные чувства. Я первой отвела глаза, так как боялась, что, прочитав мои мысли, он заметит мое смущение и поймет, что я лукавлю.

Потом комендант достал из ящика, который немцы принесли загодя, бутылку коньяка.

– Мадам, не согласитесь ли выпить со мной?

– Нет, благодарю вас, господин комендант, – ответила я, посмотрев в сторону обеденного зала, где офицеры, должно быть, уже заканчивали десерт.

– Только одну рюмку. Сегодня же Рождество.

И я поняла, что это приказ. Я подумала о своих близких, которые ели сейчас жареную свинину всего через несколько дверей от нас. Подумала о Мими, представив ее

перепачканную свиным жиром мордашку, подумала об Орельене, который, наверное, сейчас смеется, шутит и вовсю хвастается, как ловко нам удалось провести немцев. Он тоже нуждался хоть в капельке счастья: в течение недели его уже дважды отправляли домой из школы за драку, но он наотрез отказывался объяснить мне, в чем дело. Нет, я просто обязана была дать им возможность хотя бы раз поесть досыта.

– Ну... хорошо, – сдалась я.

Взяв рюмку, я сделала глоток, и коньяк точно огнем обжег мне горло. Я почувствовала, что начинаю оживать.

Он пристально следил за тем, как я пью, затем опрокинул рюмку и подвинул бутылку поближе ко мне, тем самым дав мне понять, что я должна снова налить.

Мы сидели молча. Я думала о том, много ли народу придет на réveillon. Элен полагала, что человек четырнадцать. Двое стариков из нашей компании побоялись нарушить комендантский час. Священник обещал после праздничной мессы отнести им остатки свинины прямо домой.

И пока мы пили коньяк, я исподтишка наблюдала за комендантом. У него была тяжелая челюсть, что свидетельствовало о твердости характера, но практически наголо обритая голова придавала ему какой-то незащищенный вид. Я попыталась увидеть под военной формой обычного человека, который ходит по своим делам, покупает газету, ездит отдыхать. Но не смогла. Не смогла разглядеть человека под этим мундиром.

– На войне всегда так одиноко. Не правда ли?

– У вас есть ваши солдаты, – ответила я, сделав очередной глоток. – У меня – моя семья. Никого из нас нельзя назвать одиноким.

– Но вам не кажется, что этого все же недостаточно?

– Что ж, все мы пытаемся справляться по мере сил. И по возможности наилучшим образом.

– Разве? Не думаю, что кто-нибудь способен считать это «наилучшим образом».

Коньяк слегка ударил мне в голову, и я забыла об осторожности.

– Ведь не кто-нибудь, а именно вы сидите сейчас на моей кухне, господин комендант. И при всем моем уважении к вам осмелюсь предположить, что только у одного из нас есть выбор.

Его лицо сразу омрачилось. Он явно не привык к тому, чтобы ему перечили. Щеки его слегка покраснели, и я снова увидела, как он целится из пистолета в спину убегающего пленного.

– И вы действительно считаете, что хотя бы у одного из нас есть выбор? – тихо спросил он. – И вы действительно считаете, что кто-нибудь из нас выбрал бы такую жизнь? Посреди разрухи? Которую сами же и устроили? Если бы вы знали, что нам приходилось видеть на фронте, то никогда... – Он не закончил фразу, а только покачал головой. – Прощу прощения, мадам. Это время года... Неожиданно становишься сентиментальным. А мы оба знаем, что нет ничего хуже, чем сентиментальный солдат.

Он извиняюще улыбнулся, и я слегка расслабилась. Мы сидели напротив друг друга за кухонным столом, заставленным грязной посудой, и пили коньяк. В соседней комнате офицеры затянули какую-то песню, их голоса звучали все выше. Мелодия была знакомой, но слов я не понимала. Комендант наклонил голову и прислушался. Затем поставил рюмку на стол.

– Вам ведь ужасно неприятно видеть нас здесь. Так ведь?

– Но я всегда старалась... – удивленно заморгав, начала я.

– Вы что, думаете, ваше лицо вас не выдает? А ведь я наблюдаю за вами. За долгие годы работы я научился понимать людей и разгадывать их маленькие тайны. Ну что, мадам, может, заключим перемирие? Хотя бы на несколько часов.

– Перемирие?

– Вы забудете, что я солдат вражеской армии, а я забуду, что вы женщина, которая страстно желает поражения этой самой армии, и мы просто станем... обычными людьми? – Его лицо на секунду смягчилось. Он поднял рюмку, и я почти машинально подняла свою. – Давайте не будем говорить о Рождестве, одиночестве и прочем. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о художниках из Академии. Расскажите, как вам удалось с ними познакомиться.

Не помню, сколько времени мы просидели на кухне. Честно признаться, за разговором время летело незаметно, испаряясь вместе с парами алкоголя. Комендант хотел знать все о парижских художниках. Что за человек был Матисс? Была ли его жизнь такой же скандальной, как и его картины?

– О нет. По сравнению с остальными он был самым непримиримым интеллектуалом. Очень строгим. Весьма консервативным в том, что касалось и работы, и привычек. Однако... – Я вспомнила об этом профессоре в круглых очочках, который, прежде чем продолжать объяснения, всегда старался убедиться в том, что смог донести до вас свою мысль. – Он всегда получал удовольствие от жизни. Полагаю, его работа приносила ему радость.

Комендант задумался. Похоже, мой ответ его удовлетворил.

– Я когда-то хотел стать художником. Но у меня не оказалось таланта. Причем я понял это довольно рано. – Он задумчиво провел пальцем по ножке рюмки. – Мне всегда казалось, способность зарабатывать на жизнь, занимаясь именно тем, что нравится, – один из лучших подарков судьбы.

И я сразу же подумала об Эдуарде, вспомнила, как он пристально вглядывался в меня из-за мольберта. Стоило мне закрыть глаза, и я как будто снова чувствовала жар от пылающих в камине дров на правой ноге и легкий холодок на обнаженной левой. Я видела, как он поднимает бровь в тот самый момент, когда начинает писать, забыв обо всем.

– Совершенно с вами согласна, – кивнула я.

«В тот день, когда я тебя увидел, – сказал мне Эдуард в тот первый сочельник, что мы отмечали вместе, – я долго смотрел на тебя посреди всей этой магазинной суеты и понял, что еще никогда не встречал такой сдержанной и независимой женщины. Казалось, вокруг тебя мог рушиться мир, а ты будешь стоять как стояла, с гордо поднятой головой, бросая надменные взгляды из-под копны своих чудных волос». С этими словами он поднес мою руку к губам и нежно поцеловал.

«А я почему-то решила, что ты русский медведь», – ответила я ему.

Он бросил на меня удивленный взгляд. Мы сидели в переполненном ресторанчике недалеко от улицы Турбиго.

«Гррр! – зарычал он, и я покатила от хохота. А потом крепко прижал к себе и, не обращая внимания на жующих посетителей, стал покрывать мою шею поцелуями. – Гррр!»

В соседней комнате внезапно перестали петь. Я вдруг смутилась и поднялась, словно желая убрать со стола.

– Пожалуйста, – остановил меня комендант. – Посидите со мной. Сегодня же как-никак

сочельник.

– Ваши люди, наверное, ждут вас.

– Вовсе нет. Они чувствуют себя гораздо свободнее в отсутствие начальства. Не слишком справедливо весь вечер навязывать им свое общество.

«Да уж, куда справедливее навязывать его мне», – подумала я. И тут он неожиданно спросил:

– А где ваша сестра?

– Я отправила ее в постель, – ответила я. – Она неважно себя чувствует, а ей, бедняжке, пришлось еще и весь день стряпать. Хочу, чтобы к завтрашнему дню она уже была на ногах.

– И что вы собираетесь делать? Праздновать?

– Разве нам есть что праздновать?

– Мадам, как насчет перемирия?

– Мы пойдем в церковь, – пожалала я плечами. – Возможно, навестим наших стареньких соседей. В такой день им особенно одиноко.

– Похоже, вы здесь обо всех заботитесь. Не так ли?

– Быть хорошим соседом вовсе не преступление.

– Я в курсе, что вы отдали мэру корзину дров, которую я выделил специально для вас.

– У него болеет дочь. И нуждается в тепле больше, чем мы.

– Вы должны знать, мадам, что в вашем городке ничего не проходит мимо меня. Ничего.

Я боялась посмотреть ему в глаза. Боялась, что меня выдадут выражение лица и частые удары сердца. Мне хотелось стереть из памяти все, что я знала о празднике, который проходил сейчас в сотне ярдов отсюда. Мне хотелось, чтобы меня не терзало неприятное чувство, будто комендант играет со мной в кошки-мышки.

Для храбрости я сделала глоток коньяка. Мужчины в обеденном зале снова запели. Я знала этот рождественский гимн. И почти понимала слова:

Stille Nacht, heilige Nacht.

Alles schlaft; einsam wacht^[20].

Почему он не отрываясь смотрит на меня? Я боялась заговорить, боялась встать с места, чтобы он не стал задавать неудобных вопросов. И все же сидеть вот так и позволять ему смотреть на меня, было равнозначно тому, чтобы признаться в соучастии в преступлении. Наконец я сделала глубокий вдох и подняла глаза. Он все еще наблюдал за мной.

– Мадам, не согласитесь ли потанцевать со мной? Всего один танец. В честь Рождества.

– Потанцевать?

– Всего один танец. Я хотел бы... Хотел бы, чтобы мне напомнили о лучших человеческих качествах. Ведь такое бывает лишь раз в году.

– Я не... Я не думаю...

Но тут я вспомнила об Элен и остальных, что веселились сейчас всего через две улицы от нас, свободные хотя бы на один вечер. Я вспомнила о Лилиан Бетюн. Я пристально посмотрела на коменданта. Казалось, его просьба была вполне искренней. *Мы просто станем... обычными людьми...*

А потом я подумала о своем муже. Интересно, неужели мне не было бы приятно, если бы он сейчас танцевал и его обнимали чьи-то милые руки? И пусть это будет всего на один

вечер. Разве мне не хотелось бы, чтобы где-то далеко, за сотни миль отсюда, какая-нибудь добросердечная женщина напомнила ему в тихом баре, что в мире еще есть место красоте.

– Я потанцую с вами, господин комендант. Но только на кухне.

Он поднялся, протянул мне руку, и после секундного колебания я взяла ее. Его ладонь оказалась на удивление жесткой. Опустив глаза, я шагнула ему навстречу, и он положил руку мне на талию. И под доносившееся из соседней комнаты пение мы начали медленно двигаться вокруг стола. Я каждой клеточкой чувствовала его тело совсем рядом с моим и его руку на своем корсете. Чувствовала прикосновение грубой саржи мундира к своей обнаженной руке, чувствовала биение сердца в его груди. Я была словно в огне от невыносимого напряжения и все время следила за руками, за пальцами, чтобы не оказаться в опасной близости от него, опасаясь, что в какой-то момент он может притянуть меня к себе.

И все это время внутренний голос непрестанно твердил мне: «Я танцую с немцем».

Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht...^[21]

Но он ничего такого не сделал. Напевая себе под нос, он кружил меня вокруг кухонного стола. Я закрыла глаза и на несколько минут почувствовала себя снова молодой девушкой, которая не знает, что такое холод и голод, и просто танцует в ночь перед Рождеством, а голова ее кружится от выпитого коньяка и божественных ароматов специй и сказочной еды. Я сейчас жила так, как жил Эдуард, который наслаждался даже маленькими радостями жизни и во всем видел свою красоту. Ведь последний раз мужчина обнимал меня почти два года назад. И я закрыла глаза, расслабилась, чтобы проникнуться новыми ощущениями, и позволила своему партнеру кружить меня по кухне и тихонько напевать мне на ухо:

Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!^[22]

Пение стихло, и он сделал шаг назад, с явной неохотой отпустив меня.

– Спасибо, мадам. Большое спасибо.

Когда я наконец отважилась посмотреть на коменданта, то увидела слезы у него на глазах.

На следующее утро я нашла на ступеньках дома небольшой ящик. В нем лежали три яйца, маленький *roussin*^[23], луковица и морковка. Сбоку было аккуратно выведено: «Fröhliche Weihnachten».

– Счастливого Рождества, – перевел Орельен, который, непонятно почему, упорно не желал на меня смотреть.

Чем холоднее становилось на дворе, тем сильнее ужесточали немцы контроль за Сен-Перроном. Жителям день ото дня становилось труднее, так как через город постоянно проходили все новые подразделения вражеских войск; в голосах офицеров в баре чувствовалась явная озабоченность, в связи с чем мы с Элен старались лишней раз не высовываться из кухни. Комендант перестал вести со мной задушевные беседы и большую часть времени проводил в узком кругу доверенных офицеров. Выглядел он утомленным, и я не раз слышала, как он срывался на крик в обеденном зале.

В январе по главной улице города мимо отеля уже несколько раз гнали колонны военнопленных, но нам теперь было запрещено стоять на тротуаре во время их прохождения. Еды стало меньше, нам урезали официальные нормы, и мне приходилось демонстрировать чудеса кулинарного искусства, стряпая разные яства из мясных обрезков и овощных очистков. Беда была уже на пороге.

В «Journal des Occupés», который мы время от времени получали, упоминались знакомые деревни. У нас даже по ночам иногда позвякивали бокалы от отдаленных раскатов пушечных выстрелов. А в один прекрасный день я поняла, что больше не слышу пения птиц. Нам поступило предписание, согласно которому все девушки и юноши, достигшие шестнадцати и пятнадцати лет соответственно, впредь должны работать в поле – окучивать картофель или убирать сахарную свеклу – или трудиться на немецких заводах и фабриках. И чем ближе становился день рождения Орельена, которому всего через несколько месяцев должно было исполниться пятнадцать, тем больше волновались мы с Элен. Ходило множество слухов об ужасных вещах, происходивших с нашими молодыми людьми. Так, девушек селили вместе с преступниками или, хуже того, заставляли развлекать немецких солдат. Юношей морили голодом, нещадно били и, чтобы держать в повиновении, постоянно переводили с места на место. Несмотря на подходящий возраст, нас с Элен освободили от трудовой повинности, так как, обслуживая немецких офицеров в гостинице, мы «работали на благо Германии». Данного факта было вполне достаточно, чтобы вызвать негодование местного сообщества.

Но было и нечто другое. Что-то неуловимо изменилось, и я это чувствовала. Все меньше людей заходило днем в «Красный петух». Из двадцати привычных лиц осталось восемь. Поначалу я подумала, что именно холод не дает людям выходить на улицу. Затем я забеспокоилась и решила навестить старого Рене, чтобы проверить, не заболел ли он. Рене не пустил меня дальше порога и угрюмо, стараясь не смотреть на меня, заявил, что предпочитает сидеть дома. То же самое повторилось, когда я зашла к мадам Фубер, а потом – к жене мэра. Мое душевное равновесие нарушилось. Я пыталась уговорить себя, что это плод больного воображения, но однажды днем, направляясь аптеку, я случайно проходила мимо кафе «Бланк», где увидела Рене с мадам Фубер, они сидели за столиком и играли в шашки. Я не поверила своим глазам. Но, убедившись, что они меня не обманывают, опустила голову и торопливо прошла мимо.

И только Лилиан Бетюн встречала меня дружелюбной улыбкой. Как-то на заре я поймала ее на том, что она просовывала конверт мне под дверь. Когда я отодвинула засов, Лилиан испуганно отскочила.

– O mon Dieu, благодарение Небесам, это вы! – прижав руку к губам, воскликнула она.

– Это именно то, что я думаю? – поинтересовалась я, глядя на объемистый конверт без указания адресата.

– Кто знает? – уже перебегая через площадь, на ходу ответила она. – Я ничего не видела.

Но Лилиан Бетюн оказалась в меньшинстве. Дни шли, и я начала замечать кое-что еще: когда я входила из кухни в бар, то все разговоры тотчас же стихали, словно посетители не хотели, чтобы я их случайно услышала. Если во время беседы я вставляла замечание, то оно почему-то повисало в воздухе. Я дважды предлагала жене мэра баночку с потрохами или бульоном, но в ответ она всегда говорила: мол, спасибо, у нас все есть. Она даже придумала особую манеру говорить со мной, не то чтобы нелюбезную, но отмечающую любые попытки продолжить разговор. Мне, конечно, не хотелось признаваться, но я чувствовала облегчение, когда с наступлением ночи обеденный зал вновь наполнялся голосами, пусть даже и немецкими.

В результате просветил меня именно Орельен.

– Софи?

– Да?

Я как раз месила тесто для пирога с кроликом и овощами. Руки и передник были в муке, и я размышляла на тему, как потихоньку испечь из оставшихся кусочков теста печенье для детей.

– Можно тебя кое о чем спросить?

– Конечно, – ответила я, вытерев руки о передник.

Мой младший брат как-то странно смотрел на меня, словно напряженно искал трудное решение.

– Тебе... Тебе нравятся немцы?

– *Нравятся* ли мне немцы?

– Да.

– Что за нелепый вопрос! Конечно нет. Я только и мечтаю, чтобы они наконец убралась отсюда и мы могли жить так, как жили до них.

– Но тебе ведь нравится господин комендант?

Я отложила скалку и резко повернулась:

– Разве ты не понимаешь, что это очень опасные разговоры? Ты можешь навлечь на нас серьезные неприятности.

– Если на то пошло, то вовсе не мои разговоры могут навлечь на нас серьезные неприятности.

Из бара явственно доносились голоса посетителей. Я плотно закрыла дверь, чтобы мы могли побеседовать с глазу на глаз.

– Орельен, а теперь скажи мне все, что собирался сказать, – ровным тоном очень тихо произнесла я.

– Они говорят, что ты ничем не лучше Лилиан Бетюн.

– Что?!

– Месье Сюэль видел, как ты в сочельник танцевала с комендантом. Ты танцевала, закрыв глаза, и прижималась к нему так, будто влюблена в него.

От потрясения у меня подкосились ноги.

– *Что?*

– Говорят, что на самом деле ты отказалась принять участие в *réveillon* именно потому, что хотела остаться с ним наедине. Говорят, именно поэтому мы и получаем дополнительные

продукты. Ты немецкая фаворитка.

– Так что, значит, ты именно поэтому дерешься в школе? – Я вспомнила о том, что, когда спросила брата о подбитом глазе, он нагрубил мне, отказавшись что-либо объяснять.

– Так это правда?

– Нет, *неправда*, – ответила я, стукнув скалкой по столу. – Он попросил... Он попросил меня станцевать с ним только один танец, по случаю Рождества, и я подумала, пусть лучше его мысли будут заняты танцами, чем тем, что происходит у мадам Полин. Вот и все, и ничего больше. Твоя сестра просто старалась сделать так, чтобы вы хотя бы сочельник отметили спокойно. Орельен, наш танец позволил тебе поесть свинины на ужин.

– Но я тоже не слепой. Вижу, как он тобой восхищается.

– Он восхищается моим портретом. А это большая разница.

– Ну да, я ведь слышу, как он с тобой разговаривает.

Я нахмурилась, а брат поднял глаза к потолку. Ну конечно же, он ведь часами вел наблюдение через дырки в полу в комнате номер три. Орельен действительно все видел и все слышал.

– Но ты ведь не будешь отрицать, что нравишься ему. Он иногда обращается к тебе на «ты», а не на «вы», и ты ему это позволяешь.

– Орельен, он немецкий комендант. И не мне решать, как ему ко мне обращаться.

– Софи, они все тебя обсуждают. Я сижу наверху и слышу, как тебя обзывают, и уже не знаю, чему верить.

В глазах Орельена я увидела злость, быть может смятение. Я подошла к нему и крепко схватила за плечи:

– Тогда постарайся поверить тому, что я тебе скажу. Клянусь, я ничем, да-да, *ничем* не запятнала ни своей чести, ни чести мужа. Каждый божий день я стараюсь найти новый способ поддержать нашу семью, подарить нашим друзьям и соседям еду, тепло и надежду. Я не питаю абсолютно никаких чувств к коменданту. Просто время от времени стараюсь вспоминать, что он такое же человеческое существо, как ты или я. Но если ты, Орельен, хоть на секунду можешь подумать, будто я способна изменить мужу, значит ты круглый дурак. Я люблю Эдуарда. Предана ему всем телом и душой. Каждый день нашей разлуки причиняет мне физическую боль. По ночам я не могу сомкнуть глаз, так как ужасно боюсь за него. А теперь разговор закончен, и больше не смей к нему возвращаться. Ты меня понял? – спросила я и, когда он сбросил мою руку, повторила: – Ты меня понял? – Получив в ответ только мрачный кивок, я не выдержала и, хотя мне не следовало этого говорить, добавила: – И не спеши осуждать Лилиан Бетюн. Может статься, что ты обязан ей больше, чем тебе кажется.

Брат сверкнул на меня глазами и, хлопнув дверью, вылетел из кухни. Я тупо смотрела на тесто и только через пару минут вспомнила, что собиралась печь пирог.

Чуть позже в то утро я решила пройтись по площади. Обычно за хлебом – *Kriegsbrot*^[24] – ходила Элен, но мне хотелось проветриться, да и царящая в баре атмосфера действовала угнетающе. В тот январь голые ветки деревьев уже покрылись ледяной пленкой, а воздух был до того холодным, что обжигал легкие. Мне пришлось натянуть капор пониже на лоб, а рот прикрыть шарфом. На улице прохожих было совсем мало, но и из них мне кивнул только один человек: старая мадам Бонар. Я пыталась уговорить себя, что меня просто невозможно узнать под многочисленными слоями одежды.

Я дошла до рю де Бастид, которую переименовали в Шилер-платц (хотя мы упорно

отказывались ее так называть). Дверь boulangerie была закрыта, и я толкнула ее посильнее. Внутри мадам Лувье и мадам Дюран о чем-то оживленно беседовали с месье Арманом.

– Доброе утро, – повесив корзину на руку, поздоровалась я.

Обе женщины, закутанные с головы до ног, удостоили меня неопределенным кивком. Месье Арман остался стоять, положив руки на прилавок.

Немного подождав, я повернулась к старым дамам:

– Как вы себя чувствуете, мадам Лувье? Вот уже несколько недель, как вы не показываетесь в «Красном петухе». Я уж подумала, не заболели ли вы. – В тесном помещении голос мой казался слишком высоким и звучал неестественно громко.

– Нет, – не глядя мне в глаза, ответила старая дама. – Сейчас я предпочитаю сидеть дома.

– Вы получили картофель, что я оставила для вас на прошлой неделе?

– Получила, – ответила она, стараясь не смотреть на месье Армана. – Я отдала его мадам Гренуй. Она не так... щепетильна относительно источника ваших продуктов.

Я окаменела. Так вот оно как. От обиды на такую вопиющую несправедливость у меня вдруг стало горько во рту.

– Что ж, надеюсь, ей понравилось. Месье Арман, будьте любезны, я хотела бы получить хлеб. Буханку Элен и мою, если вас не затруднит.

Господи, как же я хотела услышать одну из его шуток, пусть даже самую вульгарную, или какой-нибудь каламбур! Но булочник стоял, меряя меня неприязненным взглядом. Вопреки моим ожиданиям, он не пошел в заднюю комнату. На самом деле он с места не сдвинулся. И когда я уже была готова повторить свою просьбу, сунул руку под прилавок и достал две буханки черного хлеба.

Я смотрела на них и ничего не понимала.

В маленькой boulangerie было холодно, но взгляд этих людей обжигал кожу. Буханки лежали на прилавке, приземистые и черные.

Наконец я подняла глаза и сглотнула комок в горле:

– На самом деле я ошиблась. На сегодня у нас еще достаточно хлеба, – спокойно произнесла я, убирая кошелек обратно в корзину.

– Не думаю, что в данный момент вы хоть в чем-то нуждаетесь, – сквозь зубы процедила мадам Дюран.

Я резко повернулась и посмотрела старухе прямо в глаза, выдержав ее тяжелый взгляд. Затем с высоко поднятой головой вышла из магазина. Какой позор! Какая несправедливость! Заметив насмешливые взгляды старых дам, я поняла, какой же была душой. Как я могла так долго не видеть дальше своего носа! Я шла быстрым шагом обратно к отелю, у меня горели щеки, мысли путались. В ушах так звенело, что поначалу я ничего не слышала.

– Halt!

Я остановилась и огляделась по сторонам.

– Halt!

Подняв руку, ко мне направлялся немецкий офицер. Я осталась стоять возле разбитого памятника мэру Леклерку, чувствуя, что щеки продолжают пылать. Офицер подошел прямо ко мне.

– Вы проигнорировали приказ! – заявил он.

– Прошу меня извинить, офицер. Я его не слышала.

– Неповиновение приказам немецкого офицера считается правонарушением.

– Но ведь я же сказала, что не слышала его. Примите мои извинения.

Слегка развязав шарф, я опустила его вниз. И только тогда поняла, кто это был. Молодой офицер, который тогда в баре спьяну облапил Элен и которого комендант размазал по стенке. Я заметила небольшой шрам у него на виске, а потом поняла, что он меня тоже узнал.

– Ваше удостоверение личности.

Однако у меня его с собой не оказалось. Разговор с Орельеном так выбил меня из колеи, что я оставила удостоверение на столике в холле отеля.

– Я его забыла.

– Выходить из дома без удостоверения личности считается правонарушением.

– Оно там, – махнула я рукой в сторону отеля. – Если вы пойдете со мной, я вам его покажу...

– Нет. Я никуда не собираюсь идти. Чем вы занимаетесь?

– Ну я... шла из boulangerie.

– Где купили невидимый хлеб? – спросил он, заглянув в мою пустую корзинку.

– Я передумала.

– Должно быть, вы хорошо питаетесь в этом своем отеле. Все остальные стараются вовремя получить пайку.

– Я питаюсь не лучше других.

– Выверните карманы.

– Что?

– Выверните карманы, я сказал, – пихнул он меня прикладом ружья. – И размотайте ваши платки, чтобы я видел, что вы несете.

На солнце было минус один. Ледяной ветер пробирал до костей, обжигая обнаженную кожу. Я поставила корзину и медленно сняла первую шаль.

– Бросайте. На землю, – приказал он. – А теперь следующую.

Я огляделась вокруг. Там, через площадь, посетители «Красного петуха» наверняка следили за происходящим. Потом я медленно сняла вторую шаль, затем – тяжелое пальто. Я чувствовала, как на меня смотрят из-за всех зашторенных окон, выходящих на площадь.

– Выньте все из карманов. – Он ткнул в мое пальто штыком, вываляв его в грязи. – А теперь выверните их.

Нагнувшись, я сунула руки в карманы. Я вся дрожала от холода, пальцы, ставшие сизыми, не слушались. После нескольких попыток я достала из кармана жакета продовольственную книжку, две пятифранковые банкноты и листок бумаги.

– Что это? – выхватил его у меня немец.

– Ничего особенного, офицер. Просто... просто подарок моего мужа. Позвольте мне оставить листок у себя.

Я услышала панические нотки в своем голосе и, еще не успев закончить фразу, поняла, что совершила ошибку. Он развернул листок, где Эдуард изобразил нас обоих. Себя – в форме, в виде медведя, меня – в накрахмаленном синем платье, очень чопорную.

– Это конфискуется, – произнес офицер.

– Что?

– Вы не имеете права носить с собой изображение формы французской армии, – заявил он.

– Но... – Я не верила своим ушам. – Это всего лишь безобидный рисунок медведя.

– Медведя во французской форме. Возможно, здесь секретный код.

– Но рисунок – просто шутка... пустячок, которым обмениваются муж и жена. Пожалуйста, не надо его уничтожать! – Я протянула руку, но офицер оттолкнул ее. – Пожалуйста, у меня так мало осталось в память о...

Я дрожала на пронизывающем ветру, он, глядя мне прямо в глаза, рвал рисунок. Сперва надвое, а затем – все так же наблюдая за выражением моего лица – на мелкие кусочки, которые падали на мокрую землю, как конфетти.

– Впредь не будешь забывать документов, шляха, – произнес он и пошел догонять своих товарищей.

Когда я вошла в дом, прижав к груди обледеневшие, измазанные шали, Элен выбежала мне навстречу. Я чувствовала на себе взгляды посетителей, но мне нечего было им сказать. Пройдя через бар в маленький коридор, я попыталась негнушимися пальцами повесить шали на деревянные гвозди.

– Что случилось? – услышала я позади себя голос сестры.

Я была настолько расстроена, что с трудом могла говорить.

– Офицер, что тогда схватил тебя. Он уничтожил рисунок Эдуарда. Разорвал его на мелкие кусочки, чтобы отыграться на мне за то, что комендант его ударил. А еще у нас нет хлеба, потому что месье Арман тоже считает меня шляхой.

У меня онемело лицо, и я еле ворочала языком, но кипевшая во мне злость не давала молчать.

– Ш-ш-ш!

– Почему? Почему я должна молчать? Я-то в чем виновата? Все кругом только и делают, что перешептываются и шипят за моей спиной, но *никто* не хочет сказать правды. – Меня трясло от гнева и отчаяния.

Элен прикрыла дверь в бар и повела меня вверх по лестнице в одну и пустующих спален, единственное место, где мы могли поговорить без свидетелей.

– Успокойся и объясни толком, что случилось.

И я ей все рассказала. О разговоре с Орельеном, о стычке со старыми дамами в *boulangerie*, о поведении месье Армана и его хлебе, который нам опасно есть. Мы сидели голова к голове. Элен внимательно слушала и сочувственно вздыхала. Неожиданно она прервала меня:

– Ты что, *танцевала* с ним?

– Ну да, – утерев слезы, ответила я.

– Ты что, *танцевала* с господином комендантом?

– Не смотри на меня так. Ты не хуже меня знаешь, что я делала в ту ночь. И ты не хуже меня знаешь, что я готова была сделать все, лишь бы не дать немцам помешать празднованию *réveillon*. Я задержала его здесь, и вы смогли спокойно отметить праздник. Ты ведь сама призналась, что это первый хороший день с тех пор, как Жан Мишель ушел на фронт. Разве ты так не говорила? – спросила я, когда сестра мне не ответила. И, увидев, что она упорно молчит, добавила: – Что? Ты тоже хочешь назвать меня шляхой?

Элен сидела, разглядывая носки туфель. Наконец она подняла глаза и тихо произнесла:

– Софи, я никогда не стала бы танцевать с немцем.

До меня не сразу дошел смысл сказанного. А потом я встала и, не говоря ни слова, вышла из спальни и спустилась вниз. Я услышала, как она зовет меня, отметив про себя, в самом темном уголке души, что все, слишком поздно.

В тот вечер мы с Элен работали практически молча. Мы обменивались лишь самыми необходимыми фразами типа: да, пирог будет готов к семи тридцати; да, вино откупорено; действительно, сейчас на четыре бутылки меньше, чем было на прошлой неделе. Орельен сидел наверху с Жаном. Только Мими спустилась вниз и ласково обняла меня. В ответ я крепко прижала ее к себе, вдохнув сладкий запах нежной детской кожи.

– Я люблю тебя, моя маленькая Ми, – прошептала я.

– И я тоже тебя люблю, тетушка Софи, – улыбнулась она из-под завесы длинных белокурых волос.

Быстро сунув руку в карман передника, я положила ей прямо в рот кусочек печеного теста, который припрятала специально для нее. Она благодарно улыбнулась, но Элен тут же увела ее от меня, загнав наверх, прямо в кровать.

В отличие от нас с Элен, в тот вечер немцы пребывали в прекрасном настроении. Никто не жаловался ни на слишком маленькие порции, ни на недостаток вина. И только комендант казался задумчивым и мрачным. Он сидел отдельно от офицеров, которые под одобрительные возгласы поднимали бокалы.

Интересно, подслушивал ли их сейчас Орельен и понимал ли, чему они так радуются?

– Давай не будем ссориться, – когда мы ложились спать, сказала мне Элен. – У меня просто нет на это сил.

Она протянула в темноте мне руку, я взяла ее, но, как мы обе прекрасно понимали, что-то изменилось, окончательно и бесповоротно.

На следующее утро на рынок пошла уже Элен. В эти дни работало только несколько палаток, где продавали консервированное мясо, безумно дорогие яйца, какие-то овощи, а еще сшитое из старых тряпок новое нижнее белье, которым торговал пожилой мужчина из Венде. Оставшись в отеле обслуживать редких посетителей, я старалась не обращать внимания на то, что до сих пор являюсь объектом для кривотолков.

Примерно в половине одиннадцатого мы услышали, как на улице поднялась суматоха. Я подумала, что по площади ведут новую партию заключенных, но тут в бар как сумасшедшая вбежала Элен. Волосы ее были растрепаны, глаза вытаращены.

– Вы не поверите, – сказала она. – Это Лилиан.

У меня оборвалось сердце. Бросив все дела, я ринулась к двери. Посетители разом повскакали с мест и кинулись за мной. По дороге шла Лилиан Бетюн. Она все еще была в каракулевом манто, но надетом на голое тело, и уже не напоминала парижскую манекенщицу. Бедра ее казались лиловыми от холода и кровоподтеков, босые ступни в крови, левый глаз совершенно заплыл. Неубранные волосы падали на лицо, она шла прихрамывая, будто каждый шаг стоил ей невероятных усилий. Ее подгоняли шедшие по бокам немецкие офицеры, процессию замыкали солдаты. На сей раз немцы явно не возражали, чтобы мы с тротуара наблюдали за происходящим.

Ее прекрасное каракулевое манто стало серым от грязи. А на спине среди потеков засохшей крови виднелись следы от плевков.

И тут я услышала тихое всхлипывание: «Мама! Мама!» – и увидела семилетнюю дочь Лилиан Эдит, которую оттаскивали другие солдаты. Девочка рыдала и извивалась, пытаясь пробиться к матери, лицо ее исказилось от страха. Какой-то солдат остановил ее, грубо схватив за руку, а его приятель глупо улыбался, словно нашел повод для смеха. Лилиан шла

будто в забытии, с опущенной головой, прячась в кокон своей боли. Когда она проходила мимо отеля, раздалось протяжное улюлюканье:

– Полюбуйтесь на эту гордую шлюху!

– Ну что, Лилиан, думаешь, немцы все еще хотят тебя?

– Да она им надоела. Вот и решили избавиться!

Я не верила своим ушам. Не верила, что это мои сограждане. Оглядевшись, я увидела перекошенные от ненависти лица, презрительные ухмылки, а когда поняла, что терпеть больше нет сил, протиснулась сквозь толпу и подбежала к Эдит.

– Отдайте мне ребенка, – потребовала я.

Только теперь я увидела, что весь город собрался поглазеть на бесплатное представление. Горожане освистывали Лилиан из окон домов и со стороны рыночной площади.

А Эдит сквозь рыдания умоляюще твердила: «Мама!»

– Отдайте мне ребенка! – закричала я. – Или немцы теперь преследуют и маленьких детей?

Солдат, что держал девочку, оглянулся, и я увидела возле почтового отделения господина коменданта. Он что-то сказал стоящему рядом офицеру, и уже через секунду Эдит отпустили. Я тут же схватила ее на руки:

– Все в порядке, Эдит. Ты пойдешь со мной.

Уткнувшись личиком мне в плечо, она судорожно всхлипывала и инстинктивно тянула руку к матери. Мне показалось, что Лилиан повернулась вполборота ко мне, но на таком расстоянии разглядеть что-либо было невозможно.

Я торопливо отнесла Эдит в бар – подальше от взглядов горожан, подальше от новой волны свиста и улюлюканья – и поднялась с ней наверх, куда не доносились голоса с улицы. Девочка билась в истерике, но кто мог ее осудить? Тогда я отвела ребенка в спальню, напоила водой, обняла и стала укачивать. Я вновь и вновь уверяла ее, что все будет хорошо, что мы постараемся сделать так, чтобы все было хорошо, хотя прекрасно знала, что здесь мы абсолютно бессильны. Но она продолжала рыдать и рыдала до тех пор, пока не кончились слезы. Судя по ее опухшему личику, она проплакала всю ночь. Одному Богу известно, чего навидалось за эту страшную ночь бедное дитя. Наконец она обмякла у меня на руках, и я осторожно уложила ее в свою постель, накрыв одеялом. Затем спустилась вниз.

Когда я вошла в бар, все сразу замолчали. Сегодня в «Красном петухе» народу было много как никогда, и Элен носилась между столиков с полным подносом. Увидев стоящего в дверях мэра, я посмотрела на лица вокруг и поняла, что больше не узнаю их.

– Ну что, довольны? – сказала я звенящим, надломленным голосом. – Девочка, что сейчас спит наверху, смотрела, как вы плюете в ее зверски избитую мать. И это люди, которых она считала своими друзьями! Вам есть чем гордиться!

Тут я почувствовала у себя на плече руку сестры.

– Софи...

– Что Софи? – стряхнула я ее руку. – Вы даже не представляете, что наделали! Думаете, вы все знаете о Лилиан Бетюн? Так вот, ничего вы не знаете. НИЧЕГО! – Я уже перешла на крик, по щекам катились слезы ярости. – Как быстро вы выносите приговор, почти так же быстро, как брали то, что она предлагала, когда вам было выгодно.

– Софи, нам надо поговорить, – перебил меня мэр.

– О! Теперь вы хотите со мной поговорить! Неделю вы шарахались от меня так, точно я

воняю, и все потому, что месье Сюэль решил, будто я предательница и шлюха. Я! Которая рисковала всем, чтобы раздобыть еду для вашей дочери. Конечно, вы скорее поверите ему, чем мне! Так вот, может, теперь я не желаю разговаривать с вами, месье! Учитывая то, что мне известно, я скорее заговорю с Лилиан Бетюн! – Я была вне себя от ярости. Это был какой-то приступ безумия, мне казалось, что от меня во все стороны летят искры. Я посмотрела на их тупые лица, на их открытые рты и уже не слышала увещаний сестры. – Как думаете, откуда вы получали «Journal des Occurés»? Может, птичка уронила? Или ковер-самолет принес? – И когда Элен начала меня тянуть за руку, я только отмахнулась. – Мне плевать! Кто, интересно, они думают, им помогал?! Лилиан вам помогала! Вам всем! И даже когда вы гадили на ее хлеб, она все равно вам помогала! – Я уже стояла в коридоре. Элен, белая как полотно, держала меня за руку, а стоящий рядом с ней мэр подталкивал вперед, подальше от чужих ушей. – Что? – возмутилась я. – Правда глаза колет? Мне что, запрещено говорить?

– Сядь, Софи. Ради всего святого, сядь и заткнись.

– Я не узнаю свой город. Как вы могли стоять и освистывать ее? Пусть даже она и спала с немцами, разве можно так обращаться с живым существом?! Элен, они плевали в нее. Неужели ты не видела? Они заплевали ее всю, с головы до ног. Словно она не человек.

– Конечно, мне очень жаль мадам Бетюн, – тихо произнес мэр. – Но я здесь не для того, чтобы ее обсуждать. Я пришел поговорить с тобой.

– Мне нечего вам сказать, – отрезала я, размазывая слезы по лицу.

– Софи, у меня новости о твоём муже, – вздохнул мэр.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл его слов.

Мэр тяжело опустился на ступеньку рядом со мной. Элен продолжала держать меня за руку.

– Боюсь, это плохие новости. Когда сегодня утром через город гнали военнопленных, один из них, проходя мимо почты, уронил записку. Ключок бумаги. Мой клерк подобрал ее. Там говорилось, что Эдуард Лефевр был в числе пяти человек, отправленных в прошлом месяце в лагерь в Арденнах. Сочувствую твоему горю, Софи.

Эдуард Лефевр был арестован по обвинению в том, что передал заключенному горбушку хлеба. Когда его били за это, он яростно сопротивлялся. Услышав такое, я чуть было не рассмеялась: как характерно для Эдуарда.

Но на самом деле мне было не до смеху. Вся поступающая ко мне информация только усиливала мои страхи. Лагерь, в котором его содержали, слыл одним из самых страшных: мужчины спали в бараке на двести человек прямо на голых досках, а питались водянистым супом из ячменной шелухи и, если повезет, дохлыми мышами. Их посылали на работы в каменоломни или на прокладку железнодорожных путей, где надо было перетаскивать на плечах железные балки. Тех, кто падал от изнеможения, строго наказывали: били или лишали пайки. Болезни были обычным делом, и людей расстреливали за малейшую провинность.

Я попыталась переварить полученные сведения, и каждая нарисованная мэром картина назойливо возникала в моем воображении.

– Ведь с ним все будет в порядке, да? – спросила я мэра.

– Мы будем молиться за него, – похлопал он меня по руке, тяжело вздохнул и встал, собираясь уходить. И его тяжелый вздох прозвучал для меня как смертный приговор.

После того как забрали Лилиан Бетюн, мэр приходил к нам почти каждый день. По мере того как правда о Лилиан как круги по воде распространялась по городу, мнение о ней в коллективном сознании начало потихоньку меняться. И теперь никто больше не кривил губы при упоминании ее имени. А кто-то даже под покровом ночи нацарапал на рыночной площади мелом слово «héroïne», и, хотя надпись быстро стерли, мы все знали, к кому она относится. Несколько ценных вещей, украденных из ее дома после ареста, вернулись обратно самым загадочным образом.

Конечно, нашлись и такие, например мадам Лувье и мадам Дюран, кто не поверил бы в невиновность Лилиан, даже если бы она на их глазах стала душить немцев голыми руками. Однако наблюдались и едва заметные признаки раскаяния среди посетителей нашего бара, выразившиеся в желании приласкать Эдит, появлении время от времени старой детской одежды или лишних кусочков еды. Лилиан отправили в лагерь для интернированных к югу от нашего города. По признанию мэра, ей еще здорово повезло, что ее не расстреляли на месте. Похоже, только заступничество одного из офицеров спасло ее от немедленной расправы.

– Но никакое вмешательство здесь не поможет, Софи, – добавил мэр. – Ее поймали на шпионаже в пользу французов, и не думаю, что ей удастся уцелеть.

Что до меня, то я больше не была персоной нон грата. Хотя, в сущности, меня это мало трогало. У меня в душе что-то умерло, и я не могла относиться к соседям так же, как раньше. Эдит, точно приклеенная, бледной тенью ходила за мной. Она плохо ела и постоянно спрашивала о матери. И я каждый раз честно отвечала, что не знаю, какая судьба ждет Лилиан, но она, Эдит, будет с нами в безопасности. Она спала вместе со мной, мне даже пришлось вернуться в свою прежнюю комнату, так как по ночам ее мучили кошмары и она своими криками будила детей. По вечерам она спускалась на четвертую ступеньку, откуда ей лучше всего была видна кухня, и поздно ночью, покончив с уборкой, мы именно там ее и находили. Девочка крепко спала, обняв худенькими ручками колени.

Я жила под гнетом бесконечных страхов: и за ее мать, и, конечно, за Эдуарда. И в унылом водовороте дней чувствовала только безумную усталость и постоянное беспокойство. В город и из города практически не поступало никакой информации. Где-то там, далеко, Эдуард, быть может, сейчас голодает, мечется в лихорадке или страдает от побоев. Мэр получил три официальных извещения о смерти: двое наших горожан погибли на фронте и один – в лагере под Монсом. А еще ходили слухи об эпидемии брюшного тифа под Лиллем. Я воспринимала все это как личную трагедию.

И наоборот, Элен даже расцвела в грозовой атмосфере надвигающейся беды. Она видела, как я потихоньку сдаюсь, и, похоже, уверовала в то, что самое худшее уже произошло. Если Эдуард, с его силой и жизнелюбием, лицом к лицу столкнулся со смертью, то что там говорить о Жане Мишеле, тихом книжечее. Он точно не мог уцелеть, рассуждала она, значит, ей надо смириться и жить дальше. Элен, казалось, обрела второе дыхание: уговаривала меня встать, когда заставляла в слезах в винном погребе, уговаривала меня есть и пела Эдит, Мими и Жану неожиданно веселые колыбельные. И я была благодарна ей за то, что она давала мне силы жить. По ночам я лежала, обняв ребенка чужой женщины, и мечтала только о том, чтобы забыться и больше уж никогда не думать.

В конце января умерла Луиза. И хотя мы все знали, чему быть, того не миновать, легче от этого не становилось. За одну ночь мэр и его жена, казалось, постарели на десять лет.

– Думаю, Бог смилостивился над ней, не дав ей увидеть, во что превратился наш мир, – сказал мне мэр, и я согласно кивнула. Хотя ни один из нас в это не верил.

Похороны должны были состояться через пять дней. Мне казалось, что не стоит брать туда детей, и я попросила Элен сходить вместо меня, а сама решила погулять с малышами в лесу за старой пожарной частью. Зима выдалась на редкость суровой, и немцы разрешили горожанам по два часа в день собирать в лесу хворост для растопки. Однако сейчас я ни на что особо не рассчитывала: все деревья давным-давно начисто ободрали. Просто мне надо было хоть ненадолго сменить обстановку, чтобы отрешиться от горя и сосущего чувства тревоги, а также от всевидящего ока не только немцев, но и соседей.

Стоял тихий морозный день, солнце с трудом пробивалось сквозь голые ветви уцелевших деревьев и, похоже, настолько утомилось, что поднялось не более чем на два фута над горизонтом. Отсюда прекрасно просматривалась вся местность, и когда я огляделась вокруг, то подумала, что, наверное, наступил конец света. Я шла и мысленно беседовала с Эдуардом. В последние дни это уже вошло у меня в привычку. «Мужайся, Эдуард. Держись. Просто постарайся выжить, и тогда, я знаю, мы снова будем вместе». Эдит и Мими поначалу молча шли рядом, шаркая башмаками по обледеневшим листьям. Но когда мы вошли в лес, детская натура взяла свое, и они, взявшись за руки, с радостным смехом вприпрыжку побежали к поваленному дереву. Они наверняка испачкаются и поцарапают башмаки, но я не могла отказать им в такой малости.

Остановившись, я наклонилась подобрать несколько прутиков. Мне очень хотелось, чтобы детский смех хоть на время заглушил гложущий меня страх. А когда выпрямилась, увидела его: он стоял на поляне с ружьем на плече и разговаривал с одним из своих людей. Услышав детские голоса, он резко обернулся. Эдит с пронзительным криком уткнулась мне в юбку, ее глаза расширились от ужаса. Мими удивленно ковыляла следом, она не понимала, почему подруга так испугалась человека, который каждый вечер приходит в наш отель.

– Не плачь, Эдит. Он не причинит нам зла. Ну пожалуйста, не плачь, – прошептала я и,

заметив, что он наблюдает за нами, отлепила Эдит от своих ног, присела на корточки и ласково произнесла: – Это господин комендант. Я сейчас пойду поговорю с ним насчет ужина. А ты останься здесь и поиграй с Мими. Со мной все в порядке. Вот видишь? – И так как она продолжала дрожать, строго сказала: – Идите поиграйте минутку. Мне надо поговорить с господином комендантом. Вот, возьмите мою корзинку и постарайтесь набрать хоть немного сучьев. Обещаю, ничего страшного не случится.

[Купить полную версию книги](#)

notes

Малыш (фр.). – Здесь и далее прим. перев.

Не так ли? (фр.)

Кайзер – дерьмо! (нем.)

Булочная (*фр.*).

Островерхая каска (*в старой германской армии*) (нем.).

Мясная лавка (*фр.*).

Тогда $(\varphi p.)$.

Черт возьми! (фр.)

Хлеб (*нем.*).

Жаль (*φρ.*).

Крестьянский *(фр.)*.

Округ, район (фр.).

Пастис (*фр.*) – алкогольный напиток.

Крестьянский стиль (фр.).

Не смей лапать женщин! *(нем.)*

Фаршированная капуста, или голубцы (*фр.*).

Ужин в рождественскую ночь (фр.).

«Хроника оккупации» (фр.).

«Бюллетень Лилля» (фр.).

Тихая ночь, святая ночь.

Все спит, уединенно бодрствует только святая пара (*нем.*).

Тихая ночь, святая ночь.

Божий Сын, о как смеется любовь из Твоих божественных уст... *(нем.)*

Христос-Спаситель здесь!

Христос-Спаситель здесь! *(нем.)*

Цыпленок (*фр.*).

Военный, то есть эрзац-хлеб (*нем.*).